

ISSN 2221-9331



Литературно-художественный журнал

Том 30
2016

Институт Восточно-Славянской цивилизации
г. Харьков

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Председатель — А. Г. Романовский

Главный редактор — Л. И. Мачулин

Редакция не ведёт полемику на страницах издания.
Переписка с читателями по усмотрению редакции.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Адрес для писем:
e-mail: editor01@list.ru
<http://slvn.org/>
тел./факс +38 (057) 700-40-25

Алексей БИНКЕВИЧ

Переключка с Рабиндранатом Тагором

Будут странствия долги, и выбор суров.
В колеснице рассвета, грохочущей грозно,
я отправился в путь по пустыням миров,
оставляя следы на планетах и звёздах.

Этот путь самый близкий к себе самому,
но и самый окольный из всех, мне известных.
Он и самый запутанный путь потому,
что ведёт к простоте совершеннейшей песни.

По далёким мирам стану странствовать я,
в исполнение мечты необузданной веря,
чтоб в итоге достичь своего алтаря,
должен буду стучаться в закрытые двери.

И когда я достигну безвестных миров,
что себе рисовал только в воображенье,
то спрошу у Него: «Здесь ли Ты, Душелов?»...
И душа, обретая достойное зренье,

над печально пролитыми реками слёз,
воды коих пространство заполнили верой,
вдруг услышит, пройдя сквозь суровый гипноз:
«Я есмь здесь!» –

И воздастся мне полною мерой.

Свой труд завершу я и после. Позволь
мне рядом с Тобою побыть этой ночью.
Вот Ты восседаешь, собравши всю голь,
что встречи с Тобой возжелала воочию.
Но Ты не доступен, мой Бог, никому,
Ты – тайна, которой умом не пойму.

Поскольку Твой лик не могу созерцать,
тревожное сердце не знает покоя,
и думы, как птицы, летят с озера,
чтоб в жизнь воплотиться нетленной строкою.
Но труд, нескончаемой мукою став,
мне радость давно приносить перестал.

В окне моём лето искало приют.
То шорохи слышу, то странные вздохи.
Над рощей цветущею пчёлы поют,
а в целом, дела и не так уже плохи.
И то, что вчера было не по плечу,
реальностью стало... Сейчас полечу!

Час пробил – садимся с Тобой визави,
чтоб взгляды скрестились в бескровной дуэли.
Явлюсь непременно – лишь Ты позови,
о встрече мечтаю ещё с колыбели.
Зови! Я – готов! И с Тобою вдвоём
молчаньем мы жизни хвалы пропоём.

В густых тенях дождливого июля
неслышным шагом бродишь Ты, безмолвный,
как ночь, от всех скрываясь,
как патрульный.
В часы предгрозья робкого – без молний...

Сегодня утро затворило очи,
оставшись совершенно безучастным

к тем тучам, что согнал пассат и, в клочья
порвав,
 присел,
 обняв бушприт баркасный.

Густой покров в лазурь окутал небо.
Умолкли песни леса. Двери хижин
закрыты. И пугиной бредит невод.
Туман садится ниже,
 ниже,
 ниже...

И только Ты, мой одинокий путник,
в глубины жизни мрачные глядящий,
мой самый драгоценный в мире спутник,
отвергнувший и перемёт, и мутник,
порою даже душу холодящий,
возлюбленный мой, друг и светоч веры,
Ты, Кто невольно вверг меня в сомненья,
знай: пред Тобой я распахнул все двери.

Ты только не пройди как сновиденье.

Не смешиваясь с тусклою толпою,
я шел к Тебе извилистой тропою,
чтоб пасть, Господь, на землю пред Тобою,
и понимал: жизнь – это западня.

Красны одежды от обычной пыли,
стопами Ты топтал её Своими,
а я – лишь тень пережитого дня.

Ну что сказать сумняшеся ничтоже?
Хоть и в дома я многие был вхожим,
но сравнивать ни с кем меня негоже.
Не выделяй, не возвышай меня.

Красны одежды от обычной пыли,
стопами Ты топтал её Своими,
а я – лишь тень пережитого дня.

От сотворенья мира и по сей день
согласен быть паломником последним,
не думай, будто я от горя сбрендил,
достигнув в жизни не вершин, а дна.

Красны одежды от обычной пыли,
стопами Ты топтал её Своими,
а я – лишь тень пережитого дня.

Не ожидал я Твоего явленья,
но Ты того, Незванный, не учёл,
что жизни скоротечные мгновенья
Сам опечатал ночи сургучом.

Сегодня я припомнил их случайно,
пытаясь оживить забвенья прах.
Ты, смешанные с радостью печали
забытых дней, вдруг возродил как маг.

Ручьями игры детства отжурчали,
но отзвук их мне слышится везде,
и те шаги, что в детской прозвучали,
несутся эхом от звезды к звезде.

Сон, что ребёнку слетел на глазёнки,
милий, откуда, скажи, прилетел,
где ты копил для полёта силёнки,
а накопив, на реснички присел,
чтобы дитя увидало во сне
лотос расцветший.

Белый, как снег.
Может, пришёл ты из сказочной рощи?
Путь подсветил тебе тусклый светляк?
Или всё было банальней и проще –
просто ребёнок присел на тюфяк
передохнуть от занудной работы
и не сумел устоять от зевоты.

Как мотылёк, запорхала улыбка,
губ прикоснулась и в небо взвилась.
Или, возможно, сползла, как улитка?
Кто волен знать, где она родилась?
Кто-то твердит, что сошла с облаков,
кто-то – что с лунных скатилась боков...

Вот появился на щёчках румянец.
Где он таился до этого? Где?
Где исполнял ритуальный свой танец:
в воздухе, в водах, в священном огне
или приплыл на волне исполинской,
или возник из любви материнской?..

Сколько бы голову я ни ломал –
детские глазки сон расцеловал.

В моей последней песне пусть сольются
все радости, испытанные мною.
Переизбыток трав стоит салютом
под радугой небесной и земною;
и радость Близнецов, кружащих в пляске,
поскольку Жизнь и Смерть неразделимы –
от крохотной рождественской коляски
до той ладьи, что унесёт из мира.

И радость, что спешит примчаться с бурей,
чтоб пробудить в сознание тягу к жизни,
и радость скорби в услуженье фурий

печали,
выдающих в вечность визы;
и радость слёз над лотосом страдания,
поверженного злою Старушонкой,
чтоб музыке надгробного рыдания
пришёл на смену звонкий смех ребёнка.

На морском берегу бесконечных миров,
как песчинки в пустыне, встречаются дети.
Беспокойные воды, безудержный ветер,
беспредельное небо клеймят их тавром.

На морском берегу бесконечных миров
детвора, повстречавшись, горланит и пляшет.
Лежаков ей не надо, шезлонгов и пляжей
на морском берегу бесконечных миров...

На морском берегу бесконечных миров
дети вечно возводят песочные замки.
Набежавшие волны их рушат внезапно
иль обходят, как будто священных коров.

На морском берегу бесконечных миров
только утро разгонит набеги туманов,
вездесущие дети находят рапанов
на морском берегу бесконечных миров.

Детвора не обучена плавать ещё
и ещё не умеет забрасывать сети,
и пока они в принципе только лишь дети,
наготовю друг друга никто не смущён.

Вот искатели жемчуга вышли на лов.
Вот торговцы на берег сгружают товары.
Вот в сетях рыбаков шевелятся омары,
и какой-никакой неказистый улов.

На морском берегу не играют в войну,
на морском берегу дети камушки ищут
и, зажав в кулачках, будто денежку нищий,
как банкиры, беспечно швыряют в волну...

Зыбь морская. Слепая прибрежная мель.
Небо – то просветлеет, то снова рябое.
Море, с детством играет улыбкой прибоя
и качает волну, словно мать колыбель.

По несметным пучинам бескрайних миров,
не дождавшись обещанных сводками штилей,
детвора снаряжает десятки флотилий
из опавшей листвы и обломков стволов.

На морском берегу бесконечных миров,
сколько помню себя, всё встречаются дети.
Бездорожье небес, буря, молнии, гром...
Чей к причалу корабль не придёт на рассвете?..

На морском берегу бесконечных миров
жизнь и смерть обнялись, будто малые дети.

Я пронёс эту песню по горным хребтам и долинам.
Я пришёл к Тебе с песней,
что так и не спета доньше.
Я провёл дни мои, споря с неоспоримой сутью.
В том провёл дни мои,
что чинил и настраивал лютню.

Ритм меня покидал, и слова не туда забредали.
И сомненья души, словно оводы в зной, заедали.
Лотос не раскрывался,
вздыхал утомившийся ветер.

Я лица не видал Его,
Он
был для всех незаметен.

Был готов я Его усадить на почётное место,
чтобы Он восседал, как в цветах молодая невеста.
Но огня не нашед, не возжёт я светильников в доме
и с тех пор нахожусь
как в прострации или же в коме...

Я – корабль, что на риф
сел могучей пробоиной растра,
но надежда на то, что мы встретимся с Ним, –
не погасла.

Коль гаснет день, и птицы не поют,
стих вездесущий ветер в одночасье, –
окутай тьмой меня и дай приют,
как дал земле покровы сна и счастья...

К исходу дня усталый лотос сник,
с рассветом вновь в нём зажурчит родник.

Так пилигриму, чья сума пуста,
чьи сделались лохмотья складом пыли,
чьи слишком молчаливые уста
испили сладость горькой чернобыли,
жизнь обнови, сними бесславья клочья,
как Ты врачуешь лотос сенью ночи.

Не хватило смелости снять из роз венки
мне с груди твоей в час томления.
Провалялась собакой у твоих я ног,
постигая райских птиц песнопения.

А когда на нас с небес снизошёл рассвет,
ты ушёл, а я ищейкой обыскала ложе,
всё надеясь найти аромата след
иль один лепесток, прикасавшийся к коже.
Только что нашла от любви твоей?
Ни цветов нигде, ни сосудов с душистой влагой...
Только меч лежал, всех алмазов острей.
Как, скажи, таскал ты его, бедолага?
Вот сижу и думаю: для чего твой дар?
Как носить подарок твой слабой женщине?
Я прижму его к груди не под вой фанфар –
снизойдёт с небес ответ ли божественный?

Страх отныне на меня не опустится.
В каждой битве будешь, милый, победителем,
а любовь моя как грех, что отпустится.
Невиновность докажу убедительно.
Ты безликую послал смерть мне в спутницы,
увенчаю своей жизнью я пришелицу.
В мире страха больше нет, нет распутицы.
Меч оковы сокрушит. Март – метелицу.

Повелитель сердца, знай: времена не ждут.
Бижутерию сниму и пойду на сечь.
Никогда глаза мои слёз не выкажут.
Украшений не ношу – у меня твой меч!

Так почему Твои близки мне радости,
и почему Ты снизошёл ко мне,
Владыка неба, Повелитель радуги,
и Разрушитель вековых камней?

Когда б ни я, Ты не был бы влачащимся
за чувством сердца, словно скарабей,
зачем меня Ты сделал соучастницей
Твоих восторгов и Твоих скорбей.

И радость счастьем сердце переполнила...
Сковал мою Ты волю, Царь царей,
когда ко мне
 явился знойным полуднем,
и растворилась я в любви Твоей.
Вовеки не прижиться ветке срубленной,
и вот уж растворяется, как плоть,
моя любовь в любви Твоей, Возлюбленный,
в союзе нашем зрим Ты мне, Господь!

Незримый мой, вот снизошёл Ты с трона
и в хижине, что у подножья гор,
войдя беззвучно, слушал песню стона.
Она достигла слуха Твоего.
Ты у порога хижины стоишь.
Вокруг Тебя неистовствует тишь.

В Твоих чертогах – и певцов, и песен
не перечесть! Поют себе, и пусть...
А мой приют и небогат, и тесен,
и песнь проста, в ней неизбывна грусть.
Я распеваю песню вновь и вновь,
чем и хочу снискать Твою любовь.

Никто не сотворил себе кумира,
но песнь моя в каких-то десять строк
слилась с великой музыкою мира,
и мне достался от Тебя цветок.
Надеюсь, бедность Ты мою простишь,
коль у порога хижины стоишь
и не уходишь.

Разве час мой не пробил, коль сумрачный вечер
над землёй опускает затасканный плед.

Время птицам морским, чьи гнездовья далече,
улетать восвояси, чтоб встретить рассвет.
Будет летняя ночь, как обычно, короткой.
Вот и утро к рассвету подбирает ключи.
Кто же знает, когда рухнут цепи, и лодка,
словно лучик закатный, растает в ночи.

В океанский простор под улыбкой Твоею
поплывут мои песни волна за волной.
В тех свободных краях ветры вольные веют,
навевая сердцам безмятежный покой.

Ранним утром, когда ещё птицы не пели,
мы усядемся в лодку – чем не рай в шалаше?
И отправимся в путь без ветрил и без цели,
не поведав о том ни единой душе.

Над Гангой, что во всём на свете сведуща,
где рощица взбежала на обрыв,
я ей сказал: – Куда идёшь ты, девушка,
светильник свой одеждами прикрыв? ¹
Дом мрачен мой в тени гигантских веток,
будь так добра, дай мне щепотку света!

Тут с речки ветерок подул задиристый.
Заря волну закатную прожгла.
Она сказала, пряча лик за ирисы:
– Я потому к реке сюда пришла,
чтобы, согласно древнему ученью,
отправить свой светильник по теченью.

В преддверье надвигающихся сумерек
готов был мир сомкнуть усталость вежд,

1. Индийский религиозный праздник светильников в честь богини Лакшми сопровождается торжественными церемониями с зажжёнными факелами и светильниками. По поверью, богиня Лакшми не приходит в тот дом, в котором не горят светильники

река была в ту ночь темнее сурика,
и я сказал почти что без надежд:
– Мой тѐмен дом под сенью хищных веток,
расщедришь, дай хотя бы жменю света.
В ответ она, подняв глаза роскошные,
и улыбаясь щедро, как весна,
чтоб больше я не задавал вопросы ей,
фонарь к вечерним водам поднесла.
Свет от него лизнул металл браслета...
– Дом одинок мой. Дай мне каплю света!

– Я принесла божественный светильник свой,
но тот огонь для Лакшми я храню.
Сойди с дороги, на пути, молю, не стой,
намерений уже не изменю.
...И огонёк, блеснув во тьме победно,
поплыл по Ганге и исчез бесследно.

Гаснет день. Оживляются тени.
Время в речке наполнить кувшины.
Солнце позднее, встав на колени,
подсветило снегами вершины.

Воздух музыкой вод опечален.
На тропинке не видно прохожих.
Поднимается ветер отчаянья,
рябь по речке – гусиною кожей.

Лишь закат, словно ливень кармина,
из-под тучи змеёй выползает.
Хорошо, что скитаясь по миру,
ничего о грядущем не знаем.

Возвращусь ли я к дому в слободке?..
На тропе повстречается ль путник?..
...Там, у брода, в причалившей лодке,
неизвестность играет на лютне.

О возлюбленный сердца,
я знаю, что значит любовь!

Это свет золотой,
что танцует на пальмовых листьях,
это ветра дыханье,
летальный полёт облаков,
что остудит чело
дуновеньем неписанных истин,
это утренний свет,
половодье восторженных фраз,
лик, глядящий с высот,
ключ, которым откроешь мне душу,
губ влюблённых дуэль,
ненасытный вулканище глаз.

Это сердце, что хлынуло
морем на робкую сушу.

По деревенской улице в тот день
я шёл, стучась во все дома усердно,
но ни одна не отворилась дверь.
Возможно, уши заложило серой
тем, кто стоял за этими дверьми...
Никто не дал тогда мне подаянья,
и был я голоднее, чем термит,
и оказались тщетными стенанья.
Вдруг наяву, как свет из темноты,
как дивный сон из сказки о жар-птице, –
передо мною возникаешь ты,
ты – царь царей на пышной колеснице.
И от волненья онемел мой рот,
в кромешной тишине рыдала выпь лишь,
я дива ждал от царственных щедрот,
надеялся: сокровища рассыплешь.
Твой дерзкий взгляд испепелял меня,
и предвкушал я океаны счастья.

Трепал ты холку резвого коня
и, взяв в свою ладонь моё запястье,
спросил: – А что подать изволишь мне?
О царственный кураж – просить у нищих!
Ты засиял, как солнце при луне,
как будто сам был воплощеньем Кришны.
И, крохотное зёрнышко достав
со дна котомки, пыль с зернинки сдул я
и протянул как дорогой кристалл
тебе, проситель.
В роще саксаула
я вечером трусил свою суму,
и золотая юркая песчинка
упала в придорожную траву –
и небо показалось мне с овчинку.
Я был своей находкой огорчён,
печаль моя слезами утолилась.
Но более всего был омрачён,
что от тебя песчинка утаилась.

Когда первый луч долгожданной зари
достигнуть рассвета стремится,
когда в твоих веждах истома царит,
не дав до конца пробудиться,
ответь, разве весть до Тебя не дошла
о пчёлах, забредших в терновник,
о том, что неделю тому мушмула
цветеньем украсила вторник?

Проснись! Не теряй драгоценных минут,
ступай на дорогу прозренья,
безделью себя не позволь обмануть,
в золу превращая поленья.
Смотри: вон в конце каменистой тропы,
где бродит седое молчанье –
тяжёлое, как рудименты рапы, –
мой Друг восседает печальный.

Ты думаешь: Он в безразличье сидит,
купаясь в разливах кармина?
Его не обманешь. Он зорко следит
за каждой коллизией мира.
Проснись! Час-другой и полуденный зной
плащ жажды взметнёт вездесущей,
песками соря, как правитель казной,
стада безъязычных пасущий.

Проснись – радость в сердце твоё забредёт,
услышав шагов Его звуки.
И арфа дороги в душе запоёт
муссонною музыкой муки.

Всё веселится, всё спешит вперёд
и безоглядно расправляет крылья,
и на своём пути преграды рвёт,
в эмоциях купаясь, – камарилья.

Стремясь вперёд, листаю жизнь мою.
Бег времени изобретает трюки.
В переизбытке радости поют
шальные краски, запахи и звуки.

В такт этой неустанной кутерьме,
возникших плясок, музыкальных ритмов,
на переходе осени к зиме
появятся возвышенные рифмы.

Уверенность позиций не сдала
и не желает проникаться страхом.
Несокрушимой кажется скала,
но и она когда-то станет прахом...

Придёт пора, и непременно я
незримо растворюсь в тебе, природа,
и музыка земного бытия
отхлынет вместе с временами года.

В складах Своих хранишь Ты снег метелей,
во мне хранишь – лишь времени глоток.
В Твоих руках плеяды поколений
и я, несовершенный Твой цветок.

Перед Тобой – века, что друг за другом
проходят бесконечной чередой,
и – я, цветок, возвращённый жизни лугом,
где радости соседствуют с бедой.

Твои дороги несказанно круты,
а диспуты острее, чем ножи.
Я слишком беден, чтоб терять минуты,
Тобою отведённые на жизнь.

А время жаждет волевых решений,
сам под его надзором состою
и часто в виде жертвоприношений
богатства мира людям раздаю.

К закату дня уже бреду со страхом:
вдруг Ты врата захлопнул предо мной,
а время тает, будто в чае сахар,
и подло жалит, как пчелиный рой.

– В день, когда смерть постучит в твою дверь,
что ты предложишь охочей до тризны?

– О, я поставлю пред гостьей моей
полную чашу мной прожитой жизни.

Цену контракту мы знаем одни!
Кто даст уйти ей с пустыми руками?

Ночи осенние, летние дни
станут разменной монетой меж нами.

Свой урожай разложу перед ней,
душу к небесной ведя колыбели.

Только вот кто же мне будет родней
в день, когда смерть постучит в мои двери?

Получаю свой отпуск. Проститесь со мной.
Низко кланяюсь вам за всё доброе, братья!
Ничего не хочу кроме песни земной,
отправляясь в дорогу последнюю, братъ я.

Долго были соседями мы, а теперь –
наступивший рассвет пусть светильник погасит.
Затворившим за мною печальную дверь
завещаю я в мире прожить и согласье.

Возвращаю ключи моей кельи. От прав
на жилище своё отрекаюсь отныне.
Слова ласки прошу для себя и для трав,
и для знойных песков, шелестящих в пустыне.

Получив много больше, чем мог бы отдать,
оставляю в наследье не клады, а нечто...
До свиданья, друзья, перестаньте рыдать...
Слышу ангелов хор, приглашающий в Вечность.

Господь, я Твои доказал теоремы.
Позволь же коснуться обыденной темы.
В едином порыве, летящий к Тебе
поток моих чувств, не прогнувший хребет,
отправится пусть добровольным послом
и ляжет у ног Твоих преданным псом.

Беременно облако летним дождём.
Явленье, которого страстно мы ждём,
под бременем влаги, нависшей над пущей,

прольётся в приветствии, о Всемогущий,
всегда от меня одесную сидящий,
в едином порыве к Тебе восходящем.

И вы, мои песни, – жрецы и пророки, –
не мешкая, слейтесь в едином потоке
словами, что держатся, как на магните,
мне чувств ураган обуздать помогите.
Мне, гордо ошуюю рядом сидящему,
в едином порыве к Тебе восходящему.

И я, насладившись своим настоящим,
в едином порыве к Тебе восходящем,
подобно станице курлычущих птиц,
летающих к гнездовьям от дальних границ,
безмолвно отправлюсь теперь в ту обитель,
где нет Тебе равных, мой Друг и Учитель.

Олександра КОВАЛЬОВА
СОБІ САМОМУ

С НЕМЕЦЬКОГО

ІЗ ВАЛЬТЕРА ФОН ДЕР ФОГЕЛЬВАЙДЕ (1170–1230)

ПІД ЛИПОЮ

В тихій долині
Липа стояла,
Був нам з коханим сон наяву.
Вам видно ще й нині.
Як на галяві
Квіти прим'яли ми і траву.
Поміж дерев і поміж трав,
Тандарадай! –
Солодко так соловей співав.

Коли зайшла я
В трави воскресні,
Був мій коханий між квітів квіт.
Його знайшла я,
Діво небесна!
Яке це щастя – його привіт.
Чи він мене цілувати став?
Тандарадай! –
Гляньте, мов вишні, мої уста.

Як застелив він
Ложе багате –
Всім би щасливим
Так раювати.
Хто по цій стежці
Йтиме в село, –

Той по трояндах
Зможе вгадати
Тандарадай! –
Де узголів'я моє було.
Якби хто знав,
Що він поруч лежав.
(Боже спаси!)
Це ж сором який!
Що він чинив,
Те повік-віків
Знаєм лиш він та я,
Та мале пташа,
А більше жодна душа.

ІЗ ПАУЛЯ ФЛЕМІНҐА (1609-1640)

СОБІ САМОМУ

Не бійся. Стережись, не дай себе згубити.
На щастя не піддайсь, а заздрість обійди.
Самодостатнім будь і не лякайся біди.
Де щастя, місце й час, – усе туманом вкрито.

І пестощі, і сум для Божих фаворитів.
Прийми свій шлях, як є, змий каяття сліди.
Собою залишайсь, на піддавки не йди.
Для сподівань твоїх весь білий світ відкрито.

Що слава і хула? Поразка й зірка з неба.
Все в кожного своє. Оглянься на межі.
Усе це є в тобі, позбудься міражів.

Перш ніж вперед іти, назад ходи до себе.
Хто майстер сам собі, хто як хотів, так жив,
Тому належить світ без підступу й олжі.

ІЗ АНДРЕАСА ҐРІФІУСА (1616-1664)

УСЕ МАРНОТА

Поглянь, повсюди лиш марнота є на світі.
Що цей побудував, зруйнує інший вмить.
Де міста був огром, там лиш трава шумить.
Отару пастушок жене, де віє вітер.

Що буйно процвіта, загине без привіту,
Хто вчора хизувавсь, повержений лежить.
Ніщо не вічне тут, ні мармур, ані мідь.
Де щойно сміх лунав, жалі несамовиті.

І слава, і чини минуть, мов сон-мара.
Чи ж вистоїть легка людина, часу гра?
Ах, що ж воно таке, на що нам шани стачить?

Ніщота із ніщот, пил, вітер і пільма.
Це квітка лугова, якої вже нема.
Що вічним є, того ніхто з людей не бачив.

ЛЮДСЬКА ЗЛИДОТА

Ми – люди – хто ми є? Притулок бід одвічний.
Не щастя, а обман, болотний вогник в млі.
Ми сцена, на якій лише страхи й жалі.
Сніг, що розтане вмить, уцент згоріла свічка.

Саме життя сплива, як жарт, облуди річка.
Хто тіла одяг зняв до нас ще й склав без слів,
У книгу мертвих він, де безкінечний тлін,
Записаний давно, забутий кожним стрічним.

Примарилось на мить і з пам'яті втекло.
Усе змива потік, як наче й не було.
Час і твоє ім'я, і честь, і славу зітре.

Ось так, як подих твій в повітрі розтає.
Хтось прийде й віко на труні твоїй заб'є.
Ми всі розвіємось, мов дим на сильнім вітрі.

СЛЬОЗИ БАТЬКІВЩИНИ / ANNO 1636.

Ми знищені давно, сплатили смерті мито!
Народів дика рать, розгониста сурма.
Кров свіжа на мечі, зухвалий грім гармат
І плоть нашу, і піт жеруть несамовито.

Ген вежа догоря, у церкві віру вбито.
І ратуша в огні, і сили вже нема.
Згвалтовано дівчат, і де не глянь: чума,
Вогонь і смерть, і дух отрутою залито.

По селах і містах стікає свіжа кров.
Тричі по шість років потоки знов і знов.
Від трупів ціла гать, отож течуть поволі.

Та я мовчу про те, що смерть переважа,
Що більше за чуму й вогонь наводить жах,
Що вкрало скарб душі, й лишило нам недолю.

ІЗ КАТАРИНИ РЕГІНИ ФОН ГРАЙФФЕНБЕРГ (1633-1694)

ПРО ЗАМИЛУВАННЯ БОЖИМИ ДИВАМИ

Цей берег Божих див, краса багатолика,
Я споглядаю знов глибинну глибину.
Здається, ніби з хвиль до мене хтось гукнув:
Це неба віщій знак, це Бог тебе покликав.
Неміряних глибин праглибина велика.
Ніяким якорям її не досягнуть,
Та човен віри путь знаходить осяйну,
І Господу хвала від нас відводить лихо.

Мов риба-кит потік води жбурне,
Щоб вутлий човен твій підняти й знов залити,

Щоб хвилями його потужними накрити.
Такого руху доль твій ум не осягне.
Потік наш – дзеркало Господньої краси.
Рікою стань і все це в майбуття неси.

ПРО БОЖУ БЕЗКІНЕЧНІСТЬ

Безмежний Боже, ти кінець всьому й мета!
Ця дива круговерть, ця суть всього на світі.
Із тебе і в тобі; збагнути і вловити
Те, що невловність, гра твоя свята.

Твій промінь ось до мене доліта,
Щоб і в мені дух Божий пробудити,
Даруй снагу меті цій до кінця служити,
Щоб дух мій вгору линув крізь літа.

Даруй йому, коли кінець світів настане,
Земна скінчиться путь, нехай тоді і він
Від тлінного всього нарешті вільним стане
Й блаженствує у вічності живій,
Де пекла дух його вже не дістане.
Даруй спасіння, милість нам яви.

ІЗ ФРІДРІХА ШІЛЛЕРА (1759-1805)

ПОДІЛ ЗЕМЛІ

Беріть цей світ, озвався Зевс з вершини
Вниз до людей, – навік його беріть.
Це ваша вотчина і спадок ваш віднині,
Ви тільки все по-братськи поділіть.

Всі, в кого руки є, спішать облаштуватись,
Заворушилося мале й старе.
Поквапивсь землероб зерно зібрати
Поміщик з лісу дань бере.

Купець хапа, що вміщують комори.
Абат старого запаса вина.

Перекрива король шлях через ріки й гори
І десятину забира, як зна.

Й коли вже Зевс давно закінчив поділ,
Поет з далеких повернувся країв.
Все роздано, що зверху, що зісподу.
На все господарі свої.

Біда мені! Окрадений віднині,
Забутий я, твій найвірніший син!
Його жалі та скарги в небо линуть
До трону Божого, в небесну синь.

Якщо ти в царстві мрій десь заблукався, –
Сказав Господь, то не переч мені.
Де був ти, коли поділ відбувався?
Поет озвався: В Тебе біля ніг.

До Твого лику линув я очима,
Небесний спів зачарував мене.
Даруй мені, що в сяєві пречистім
Мій дух забув про все земне.

Ну, що ж! – Промовив Зевс. – Відбувся поділ.
На все господар свій, та не горюй.
На небі місце біля мене поряд
Для тебе є. Ходи сюди й царюй!

НАДІЯ

Мріють і марять багато людей
Щасливими, кращими днями.
Десь є він – із чистого золота день,
За ним женуться без тями.
Старим і знов юним світ стає,
Надію на краще людям дає.

Надія приводить у світ маля,
До нього привітна й мила,

І юність чарами звеселя,
Й не йде за старим в могилу.
Й старий на втому свою не зважа,
Він на могилі надію саджа.

Бо це не пусте, це не сон-мара,
Не те, що лиш дурню личить.
У серці людському горить, не згоря,
До чогось кращого кличе.
Що внутрішній голос тобі прорік,
Те не покине тебе повік.

ІЗ АВГУСТА ГРАФА ФОН ПЛАТЕНА (1796-1835)

ТРИСТАН

Той, хто споглядав красу очима,
Потайки у смерть тікати хоче.
Для земної долі він причинний,
Але й перед смертю весь тріпоче.
Той, хто споглядав красу очима.

Біль любовний не стиха довіку,
Лише дурня гріє сподівання,
Що усе під силу чоловіку,
Вжаленому стрілкою кохання.
Біль любовний не стиха довіку.

Висхне, ніби джерело, й померхне,
Скрізь отруту всотує незримо,
Кожна квітка пахне йому смертю.
Той, хто споглядав красу очима,
Висхне, ніби джерело, й померхне.

ВЕНЕЦІЯ

Венеція усе ще в мріях тоне,
І тіні давнини над нею мають,
А лева вбито, вже його немає.
Без нього кліть пустіє і холоне.

Із моря коні піднялися вгору,
Аж церква похитнулася під ними.
Та вже не ті вони, бо їх спинили
Всепереможні корсиканські шори.

Де цей народ? Чи він вам зустрічався?
Він мрамур підкорити був спроможний.
Розвіявся, розсіявся у часі?

Лиш видають онуків брови гожі,
Далеких предків риси величаві,
Навік вкарбовані в надгробки дожив.

ІЗ ГАЙНРІХА ГАЙНЕ(1797-1856)

* * *

Штани вітрисько надяга
З морської піни – білі.
Він хвилі з усіх сил шмага,
Щоб, мов скажені, бігли.

Мов темна рушиться гора,
Мов б'ють дощу копита.
Так, ніби хоче ніч стара
Старі моря втопити.

На щоглі чайка в люту мить
Від крику знемагає,
Б'є перелякано крильми,
Біду передрікає.

* * *

Не кпи з біса, чоловіче,
Бо за мить життя мине.
Пам'ятай: прокляття вічне –
Не базікання дурне.
Борг належить віддавати,

Довга ця життя пора.
Ще поткнешся позичати,
Як уже робив не раз.

* * *

Серце, не мирись з журбою
І витримуй долі гніт.
Що зимові вкрали дні,
Знов віддасть весна з любов'ю.

Та й не все водою змито,
Є і пахощі, і квіт.
Й те, чим милий тобі світ,
Все дозволено любити.

* * *

Ти гарна, ніби квітка,
Ясна твоя чистота.
Дивлюсь на тебе й туга
Серце моє огорта.

І так мені, ніби руки
Кладу тобі на чоло,
За тебе Богу молюся,
Щоб добре тобі було.

* * *

Дехто молиться Мадонні,
Хтось Павлові та Петрові,
Я ж молюся лиш любові,
Лиш тобі, як сонцю й долі.

Поцілуй мене на щастя,
Засяй в моє віконце,
Поміж сонць дівча найкраще,
Між дівчат найкраще сонце.

ГЕОРГ ГАЙМ (1887-1912)**ОФЕЛІЯ****1.**

Гніздо в косі, пацючий слід на тілі.
У перснях руки, спущені в потік,
Немов плавці. Вона пливе крізь тіні,
Як у підводнім пралісі густім.

Останній промінь в темряві блука.
Занурюється в мозок, там пільма.
Чому померла і чому сама?
Що поміж водорості тут шука?

В густому очереті вітер знявсь,
Щоб зграйку кажанів наполохать.
Цих крил промоклих темна метушня,
Мов дим хтось із потоку видиха.

Вугор ось білий довгий виповза
На груди. Світлячок їй на чолі.
Верба свої виплакує жалі,
І кожен лист, немов німа сльоза.

2.

Зерно. Посів. І дня червоний піт.
Над жовтим полем вітру сонна гра.
Вона, мов птах, що помирає зібравсь.
Крилом до неї лебідь прикипів.

Повік блакитних тиха, ніжна тінь.
Дзвенить коса і чуються пісні.
Їй сняться поцілунки чарівні
В могилі вічній, темряві густій.

Минуло все. На березі гримлять
Гулкі міста, де вперто греблю рве
Стрімкий потік. Відлунням оживе
Далекий світ. Накотяться здаля

Всі гуки вулиць. Дзвонів передзвін,
Заліза скрегіт, де в сліпих шибках
Зорі вечірньої відбився страх,
Де велет-кран до неба руки звів.

Тиран могутній зморщив чорний лоб,
І ницьма перед Молохом раби.
Важкі мости напружили горби,
Через ріку гайнули напролом.

Її, невидиму, несе потік.
Вона пливе, а на людські гурти
Печалі птах розбуджений летить.
Обидва береги вкриває тінь.

Минуло все. Вже в темінь заверта
Дня літнього висока, пізня мить
І в трав темно-зелений оксамит
Вечірню втому лагідно вліта.

Її відносять хвилі навісні
В сумні порти зимової пори.
Вона долає вічності поріг,
Де горизонт запалює вогні.

UMBRA VITAE

На вулиці з дворів виходять люди,
Магічні знаки бродять небесами.
Комети між зубчатих башт повсюди
Погрожують вогненними носами.

На всіх дахах звіздар на звіздареві
На небо довгі наставляють труби.
Мов з нір, вилазять чаклуни і ревно
До зір волають, накликають згубу.

Щоночі самогубць блукають орди,
Шукають душ загублених примари.
На півдні й півночі, на заході та сході
Їх руки-віники здіймають пилу хмари.

Та їхній прах за мить розвіє вітер,
Волосся їхнє проросте травною.
Помруть поспішно, як усе на світі,
У полі десь наклавши головою.

Ще хтось тріпнеться. Та насунуть звірі –
Ріг у живіт, і стане світ нестерпним.
І кожен звалиться на всі чотири,
І вкриється шавлією чи терном.

Моря застигли в мороці огиднім.
Там кораблі з гнилими якорями.
І жодної вже течії не видно,
І зачинились всі небесні брами.

Дерева не зарадять омертвінню,
Приречені на вічну смерть і муку.
Над гиблим шляхом простяглися тінню
Їх довгі пальці, дерев'яні руки.

Усяк підводиться назустріч смерті
Ще й промовляє слово сумовите.
Й зникає. Де життя його? Померхло?
І тільки очі, ніби скло розбите.

Повсюди тіні, мов похмурі бранки.
Сни проминають двері онімлі.
Того лише розбудять світлі ранки,
Хто сон важкий з повік струсить зуміє.

ІЗ ГЕОРГА ГАЙМА

ДЕМОНИ МІСТ

Минає темні вулиці міські
Ватага їхня й заверта за ріг.
Мов мореплавців бороди важкі,
Тут хмари сажі нависають скрізь.

Ось їхня тінь лиху заводить гру,
Й все тоне в темряві, як у воді.
Вона туманом виповза на брук,
Обмацуючи вперто кожен дім.

В майдан одна впирається нога,
Коліном інша башту прогина.
Ще й чорного дощу страшна вага.
Сопілка Пана бурю заклина.

Навколо ніг кружляє ритурнель
Міського моря. Музика сумна.
Щось погрібне у приспіві майне.
Мінливий тон. Похмура глибина.

Уздовж потоку темного ідуть,
Що ніби змії, о пізній цій порі
До неба вгору ткнувсь, та на біду
Лиш корчиться у сяйві ліхтарів.

Обперлися об поручні моста
І руки простягли в людську юрбу.
Здається, що там Фавн в болоті став
І з твані руки витягти забув.

Один встає і маску чорноти
На білий місяць надягає вмить.
І вже в свинець заковано світи.
І над дахами темрява висить.

Ці плечі міст. О, як вони тріщать!
Скрізь полум'я неситі язики.
А демони вже на дахах сидять
Й кричать, мов схарапуджені кішки.

У комірчині, де давно стемніло,
Все заглушає породілі крик.
Звелось над ліжком її сильне тіло.
Чорти діждались темної пори.

Хапається за лаву і тремтить,
Від болю світ в її очах пливе.
Яка нестерпна ця кривава мить!
Виходить плід і лоно навпіл рве.

Чорти-жирафи шиї простягають.
Без голови у матері дитя.
Примари страху все живе лякають,
І мати падає без вороття.

Ці демони невпинно йдуть у ріст.
Червоним рогом протинають ніч.
Гуркоче землетрус у лоні міст,
І з-під копит лавини вогняні.

ІЗ ГЕОРГА ТРАКЛЯ (1887–1914)

ЗАПУСТІННЯ

Осінній вечір. Дзвонів калатання.
Пташиний лет. Я звідав його чари,
Коли птахи, сумирні, мов прочани,
В прозорім небокраї тихо тануть.

Крізь сутінки садові я мандрую,
Замріявшись про світлу долю птаха.
Між стрілками зависне час-невдаха,
Пташиний шлях очима я торую.

Але нараз повіє запустінням,
І дрізд заплаче в гіллі здичавілім.
Лоза червона на ґратчастих стінах,

Цей хоровод дітей, блідих, зомлілих,
Круг темних цямрин, що самі, мов тіні.
На вітрі сині айстри скрижаніли.

СПОГАД З ДИТИНСТВА

Полудень тоне в сонячній млі,
Тихо бджолиний гул даленіє.
Сестер голоси в саду заніміли,
Щось наслухає хлопчина в гіллі,

Занурившись в книги таємний світ.
Липи нагнули зів'ялі віти.
Чапля ніби зависла в блакиті
І падають тіні на живопліт.

Сестри у дім заходять мершій
І мерехтять їхні сукні білі.
Ось вони в світлі покої забігли,
Вітер заплутавсь і стих у кущі.

Хлопчик погладив по спині кота,
В того, мов люстра, світяться очі.
Грає орган і цей звук пророчий
Над пагорбом високо в небо зліта.

ПРОСВІТЛЕНА ОСІНЬ

Збігає рік, а скільки сил
В плодах, у виноградних лозах.
Так глибоко мовчать ліси
Із самотою в суголоссі.

І скаже селянин: Гаразд.
Вечірній дзвін во славу літа.
Мужніти надійшла пора,
Вітати птаство перелітне.

Час милосердя й співчуття.
Униз блакитною рікою.
Прекрасних образів злиття –
Мовчання й спокою тривкого.

ДИВНА ВЕСНА

В ту мить полудневу, як вітер затих,
Лежав я на камені й уві сні
Узрів, як у ризах своїх золотих
Стояли три янголи в сяйві яснім.

О, ця незбагненна весняна пора!
Останні сніги розтають у ріллі.
Береза волосся своє підбира,
Бо озера гладь – то прозорий лід.

Блакитною стрічкою небо звиса.
Як гарно хмарини кудись пливуть.
Дивлюся і мрію – така краса!
І янголи тихо поклони кладуть.

Ще й пісня пташина гучно бринить.
І ти розумієш її, авжеж:
Перш як бажання своє вдовольнить,
Якраз і помреш, якраз і помреш!

Георгий КУЛИШКИН
Из книги «Мужской роман»*

НА БРУДЕРШАФТ С ОПОРОЙ

Встретив наконец парня из хорошей семьи, Маришка отъединилась от нас в одно движение — как выдёргивала по утрам фен из розетки. Нити связей с очередью желающих приобрести нашу обувь были переданы мне. Настал мой черёд отправляться в люди.

К финалу погребальных хлопот мы с Толей протратились до последнего рубля. Этот рубль, один на двоих, лежал в пепельнице «Ласточки». Бензина в баке хватило доехать до производственного схрона и должно было хватить до места встречи с клиентками, заказы которых в виде мерок ожидали нас на рабочем месте. Впрочем (это к тому, хватит ли бензина), адрес встречи ещё предстояло согласовать, в обеспечение чего мы имели две двухкопеечные монеты для телефона-автомата.

Накануне припекало весеннее, во всю щёку, солнце. А к вечеру повалил мокрый снег, и за ночь лужи промёрзли до дна. Большая лужа спрудилась и замёрзла у входа в нашу сторожку. Лыдина толщиной сантиметров в пятнадцать подпирала дверь.

Знающий не понаслышке о сюрпризах, на которые горазды постройки двора, Тоха молчком вернулся к «Ласточке». В багажнике была у него куча мала, хранившая в частности и походный топорик. Молчаливые по причине очень раннего часа, мы попеременно с остервенением долбили лёд, который отстреливался колючими осколками, пока очистили секторок, позволивший приоткрыть дверь и протиснуться вовнутрь.

Холостой щелчок выключателя известил о новой беде — нет света.

— Засада! — проговорил я, не представляя, что мы сможем предпринять.

— А у хозяев горел? — спросил Толик.

— Вроде нет...

— Ага, — произнёс он, отметив первую точку на пути к

выяснению причин, и полез через щель наружу.

Обледенев в непогоду, упал кабель, питающий всё домовладение. Пройдя вдоль него, как по путеводной нити, Тоха, будто улику, показал скрутку, которая развилась от непредвиденного веса.

- Что будем делать? — растерялся я
- Прикрутим на место.
- А где оно, место?
- А вон светлый кусок на проводе!
- Да? А как нам до него?..
- Там под гаражами были старые стремянки...

Подгнившие с боков, на которых лежали, осклизлые, распатанные деревянные лестницы, чтобы получить нужную длину, мы связали буксировочным тросом, прописанным в багажнике «Ласточки». Горе-конструкция в процессе прилаживания её к столбу едва не развалилась от собственной тяжести.

— Лично меня, — признался я, — туда не загнать и под дулом автомата! Высоты у меня не страх, высоты у меня ужас.

— Сам такой. А куда деваться? — сказал Толик и с плоскогубцами (багажник) и концом упавшего провода в руке полез вверх.

Место верёвочного соединения по мере того, как Толец подбирался к нему, подламывалось, грозя обрушением.

Толик спустился.

- Может, ну его? — сказал я. — Вызовем службу?
- У нас есть время их ждать? И деньги им платить?
- Нет, у нас есть время нахитнуться оттуда!
- Не каркай! Я, кажись, придумал...

Он ушёл во двор и вскоре вернулся с длинной серой от времени доской, из которой змеиными клыками торчали два ржавых гвоздя. Конец доски Тоха упёр в слабое место связки, сказал:

— Держи! — и снова полез на столб.

Слепленная на соплях оснастка тряслась, раскачивалась, но держала. Питавший нас провод был верхним. Ниже на крюках и чашечках по обе стороны столба тянулись ещё два. Извернувшись английским S, чтобы не коснуться их и не схлопотать удар тока, в одной руке Толик держал покрытый изоляцией упавший кабель, прилаживая его зачищенный конец к витому голому проводу линии. Вторая рука, ловя плоскогубцами хвост скрутки, делала по трети оборота, после чего ей надо

было смещаться выше, правее или левее основной линии. На хлипкой, дрожавшей под ним перекладине он выпинался на цыпочки, а равновесие удерживал, прихватывая коленями растрескавшийся ствол опоры и балансируя, как эквилибрист. В начале каждого нового витка, которых предстояло сделать около десятка, он, сторонясь провода, обвивался вокруг него так, словно хотел выпить со столбом на брудершафт. Мне, стоявшему внизу в позе распятия, чтобы держать доску и лестницу, невыносимо страшно было смотреть на него, а он со старательной методичностью производил одну треть оборота за другой, заботясь больше всего о надёжности нового контакта.

— Да будет свет! — сказал Толян в нашей конуре и клацнул выключателем.

Свет возник.

— Ну вот, — сказал он, посмеиваясь над пережитым мною потрясением и не придавая значения своему героизму. — А ты боялась!

Мы поработали, привычно поторапливаясь и понимая друг друга с полуслова. Был глубокий вечер, когда с готовыми заказами на руках мы остановились на безлюдном перекрёстке у автомата, из которого нам удобно было звонить.

Я опустил в прорезь двушку. Судя по звуку, она пошла каким-то не тем горлышком, но не упала в окошко возврата. Я ударил по антивандальным доспехам грабителя — монеты он не вернул.

— Схавал падла! — доложил я Тохе, показывая последнюю монету.

Он вышел из машины, молча потеснил меня из будки и стал поворачивать к слабому свету листок с цифрами телефонов, а я, уступив ему право последней попытки, подумал, что человеку, который пойдёт впереди, потребны не только умение, ловкость, отвага и успех, которые сегодня так понадобились нам и так удачно обнаружили в Тохе. Ему ещё никак не обойтись без устойчивости против упрёков со стороны своих же в случае промаха.

Я смотрел на Тольку. В его образцово-славянской курносости так отчётливо прорисовывалась решительная повадка и тот, позарез нужный нам, оставшимся без Женьки, отметающий сомнения нахрап, что меня так и подмывало ткнуть его кулаком в ребро, сказать — дерзай, братишка, бери на себя! Прوماжем — не беда, я не попрекну.

Двушку он не опустил — пульнул её с заливчатской увёрткой умельца. Автомат причмокнул правильным причмоком и исполнил положенное клац-переклац. Но ожидаемых гудков не последовало. Возник наставительный бас:

— Эти каникулы с гулькин нос, а у тебя целый список литературы! «Горе от ума», «Капитанская дочка»...

Девчоночий голос отвечал скучающим согласием:

— Угу, угу...

Тут от молниеносно мыслящего и ещё быстрее говорящего Толи за наше окончательное ограбление досталось на орехи случайным людям, к разговору которых нас подсоединило злокозненное устройство:

— Ей давно к мужикам в койку пора! — заявил он с раздражением и непререкаемой категоричностью. — А ты, полудурок: «Список литературы, список литературы»!..

— Это кто там?! — ужаснулся потрясённый родитель. — Вадик?!

— Не-ет! — пропел тоненький, приплюснутый сдерживаемым изо всех сил, но ликующим ехидством голосок. — Это у тебя!.. Хи-хи-хи!..

ИРИШКА-ВАЛЕРИЯ

Иришка!.. Я, не слышимый мною будничным, похоже, так скучал по ней и так хотел этой встречи, что совсем не удивился и не подумал, что так не бывает, — напротив, меня задело, что она чужая, вернее, что я чужой.

ИРИШКА

Летом муж старшей сестрички, сам прораб-первогодок, в нарушение всего и вся взял меня, четырнадцатилетнего, на заработки. Мы двигались сквозь тайгу вдоль линии электропередачи и у селений, которые до нас прозябали без света, ставили понижающие подстанции.

В бригаде горстка народу, зато у каждого свой механизм: бульдозер, кран на «Урале», на трёхосном «Зилке» — «бурка».

Какой у кого тыл на материке, кому сколько лет — здесь все как пацаны: Толик, Паша... И повадки пацанские, и словечки, и ссоры.

Когда не связано с техникой, все делают всё, то есть работу, на которую взят я. Но с ломом и лопатой я, спортсмен, борец, выдыхаюсь раньше всех, как последний доходяга. Это злит Толика. Бульдозером он в любом состоянии управляет,

будто игрушкой. А рыть вручную ему тоже тяжело. Он раздевается до майки, которая скоро делается такой мокрой, что проступает искусно и подробно, словно гравюра, наколотый храм.

Бурщик Паша, прикрывая меня, ворочает за двоих. Невысокий, без заметной крепости в теле, он способен копать, долбить, таскать и замешивать безостановочно. Он не потеет, дышит ровно и о том, что устал, узнать можно лишь по причёске. Когда Паша «в силах», его волосы цвета некрашеной доски, выгоревшей под открытым небом, торчат хохолком. Когда тяжелеют и ложатся в лёжку — Паша, говоря его словом, ухайдохался.

При переброске на новый объект я еду в «бурке» под тем предлогом, что машина тяжела и увязает чаще других. Моё — разматывать трос лебёдки, чалить его за подходящий ствол. Но вот мы меняемся местами, и теперь Паша бурлачит с тросом, а я — я за рулём! Я веду «бурку», заставляю её кряхтеть на тормозах, рычать и плакать на пониженной, одолевая трясины. Восторг мой, как в зеркале, повторяется в Пашином лице, и непонятно, кому больше радости доставляет моё учение и мой успех.

Насмешливую бывальщину крутят в бригаде, как пластинку. Заездила она, нет ли, а служить ей до появления новой. История, разумеется, о Паше. В позапрошлую побывку он привёз жене в подарок от таёжной зазнобы лобковую живность. Клялся весь отпуск, что это никакая не измена, что это в бане. Уехал непрощённый. Дока Толик, до тонкостей разбирающийся в паразитах и стряпавший при их посредстве полезные в лагерном житье-бытье мастырки, раздобыл для Паши к новой его побывке несколько особей, посаженных в аптечный фантик из вощёной бумаги. В придачу снабдил друга настойкой чемерицы, губительной для многоножек.

Следуя полученной инструкции, Паша подпустил едва различимых крабиков супруге, а сам втихомолку прыскался снадобьем. Наставление предписывало учинить допрос с пристрастием, как только она начнёт чесаться.

— Пашенька! — божилась жена. — Клянусь, не знаю, откуда! — и робко, сама не очень веря, предположила:

— Может, в бане?..

— Ах, в ба-ане!.. — пропел Паша несвойственным ему альтом.

— Пашенька! Как Бог свят! Вот перекрестилась!

— А когда я крестился?!

— Ну дура была! Ну каюсь!

Пролеченная настойкой, которая якобы завалилась у Паши от прежних «бань», супруга проводила его на вахту как самого верного и самого дорогого.

Однако победа на семейном фронте недёшево стоила Паше в таёжном тылу. Вот и опять, отправляя нас из нового места расположения, из деревни Яковлево, на разведку в близлежащий посёлок лесорубов удостовериться, точно ли там есть столовая, Толик съязвил:

— Узнай заодно, нет ли там бани!..

Дорога — колея в крупнозернистом жёлтом песке — шла по старой вырубке. Сторонами вразброс и вразнобой — молодой ельник. Ближе к накатанной колее — орешник, ивняк и малина, малина... Небольшие полянки выкошены как под нулевую машинку, сено в стожках.

Вдруг из малины выпорхнула, весело голосуя, девчонка в моднейшем — не добудешь и в столицах — белом плаще. С погончиками, с пояском на тонкой талии, книзу от которой — схваченный плащом в обтяжку ладный задок и крепкие ножки в синих застиранных шароварчиках, стянутых резинками у косточек.

Я бухнул по тормозам, не успев со сцеплением, и «бурка», тяжело отклонявшись, остановилась как вкопанная и заглохла. Паша с радушием, особенным в малолюдые, распахнул дверцу. Девчушка без вопроса запрыгнула в кабину, сказала:

— Здравствуйте!

И, лукаво подсветив чёрные смородины зрачков, бросила персонально мне:

— Здравствуй, Дима!

Я был так глуп в своём удивлении, что она залилась счастливым хохотом, от души довольная удавшимся фокусом.

— Вы ещё там, в Покровке, — натешившись интригой, открыла секрет, — а мы уж тут всё про всех!

Возле чайной с высоким в четыре ступени крыльцом соскочила на землю и, тактично обращаясь к двоим, пригласила:

— Приходите на топотульки!

— Эт куда?

— Там, у вас, в Яковлево, в клубе, — ответила уже уходя, уверенная, что приглашение принято.

В чайной, ожидая, когда нам поджарят картошку, которая

шла в порции с обрубком варёнки толщиной в два пальца, подрумяненном с двух сторон на том же противне, мы пили бочковой клюквенный морс. От него нельзя было оторваться. Прохлада погребка, аромат... И вкус!..

Из трёхлитровой банки, которую принесла подавальщица, я подливал себе в гранёный, мутный от возраста стакан и видел, что у меня дрожат руки. Предчувствие чего-то необычайного, ждущего меня вечером, состояло, как и вкус морса, из несоединимого. Жуть и счастье.

Клуб архитектурой ничем не отличался от избы-школы, в которой нас поселили, и смотрелся с нею через центральную площадку деревни сенцы в сенцы. Будто из самих сумерек на скамье у клуба вылепился дедок с гармонией. Теперь-то я понимаю, что дедом он не был и в возрасте пребывал скорее молодым. Но тогда показалось — дедушка. Он возник и без предисловий, с чётко обозначенным ритмом ударил по кнопкам, выдавая:

Трип — тип — тип — тип!

Трип — тип — тип — тип!

Всё одно и то же, одно и то же, но бойко, завлекательно и с таким каким-то подзуживанием, что девчата, взявшиеся тут же невесть откуда, начали отбивать каблуками тот же ритм, слегка перемещаясь в вытоптанном, вспыхивающем мелкой пылью круге. Это не выглядело странным. Наоборот — тянуло подтопнуть с ними заодно.

— Пойдут игры, — услышал я полушёпот, — выбирай меня!

— Игры?

— Ну да. У них тут всякое... Со времён царя Гороха. И чего бы ни играли, в конце должны свестись парочки.

— А почему — у НИХ? — подчиняясь её полушёпоту, шептал и я.

— Они, Яковлево, от сосланных кулаков, а мы, леспосёлок, от сидевших. Наша классная задаёт нам их игры выучивать. Этнография!

— Да что ты! — удивлялся я и разглядывал её лицо. Бровки как нарисованы, носик картошинкой. Чуть-чуть скуластенькая, подбородочек острячком. — А как, ты говоришь, выбирать? — сказал я, и откуда-то сверху спустилось и втиснулось между нами большое разгорячённое лицо, спросило с нажимом на два слова:

— Тык СЁ-ДНИ ЯМУ выбирать?!

Он был выше меня настолько, что принуждён был согнуться. И старше года на четыре. Автоматом, по практике борцовских занятий, я прикинул на глазок его вес. За семьдесят — сказало где-то далеко, будто и не в моём сознании, и безрадостно сама собою отметилась разница не в мою пользу.

— Не бляй-ство ли это? — обратился он к ней, сгибаясь ещё ниже.

— А пойдём-ка я тебе расскажу! — без единой мысли в опустевшей вдруг голове и неожиданно для себя самого произнёс я.

— Чи-иво? — поворотилось и приблизилось лицо.

— Пойдём, говорю, поговорим! — сказал я и ответно приблизился так, что почувствовал испарину его лба.

— А-а! Ну, по-дём! — охотно принял он, а я, ведомый не то бесом, не то ангелом хранителем, беспечно повернулся к нему спиной и, словно зная назубок, куда здесь ходят разговаривать, направился за угол клуба.

«Первым! — вела меня мысль. — И будь что будет!» В этой мысли не было смелости. И никакого не было задора. Она была чистым отчаянием. Простым пониманием, что при НЕЙ никак иначе невозможно. При НЕЙ я буду драться, пока меня не убьют.

Миновав уложенный срубом угол, я развернулся и, вкладывая в удар и скорость этого разворота и круговой замах во всю длину руки, целя в нос и с какой-то припадочной радостью наперёд зная, что в нос и попаду, открытым кулаком съездил по возникшему из-за сруба лицу. Лицо сухо хрустнуло и мокро чмякнуло в одном звуке. Я мельницей запустил кулак по новому кругу и ударил ещё раз, попав куда-то выше — сильно и пронзительно больно для своих пальцев.

Лицо отпрянуло в закуток между стеной и хвостами сруба и, гундося, молвило:

— А баял, бля-х, ГОВОРИТЬ!

Обезоруженный логикой сказанного, я опустил руки. Но тут сверкнула гладкая, до блеска отполированная мозолями монтировка Паши. Она не сильно, зато быстро-пребыстро, словно барабанная палочка, простучала дробью о голову моего врага и замерла, готовая к повтору.

— А? Как? — поинтересовался Паша у детины, до макушки которого ему бы без ломика нипочём не дотянуться.

Стая местных, по любопытству или предполагая вмешаться, подступала подковкой, тесня нас с Пашей к брёвнам сте-

ны, когда в центр, словно солист плясового ансамбля, прыгнул Толик.

— Кто?! Что?! С каким базаром?!

Резко смещаясь от фигуры к фигуре, его синяя в перстнях лапа действовала на вопрошаемых, словно манок гипнотизёра. В несколько фраз Толик закрыл разборку, в приказном порядке потребовав с местных мировую.

Из алюминиевого бидончика разливали домашнее пиво, настоящее на травах. Паша одёрнул — не увлекайся. Я допил стакан и отставил его в сторонку.

— Как ты успел — с монтировкой?

— Она у меня при «бурке» на почётном месте! По этим по лесам научись... Гляжу — этот ухо к вам подсовывает — ну и за ней. Без неё никак...

Пульс ударял в больные пальцы, рука напухла. Но стоило руке принять ключи от «бурки», — боль улетучилась.

Паша прочёл взгляд девчухи, обращённый ко мне, и молча достал ключи.

Она звала уйти. Но если не уйти, а уехать, как своим, располагая автомобилем...

Паша, Паша! Подарка, равного по щедрости, не будет никогда в моей жизни.

Жёлтая колея весело бежала на свет фар. Спутница не умолкая тараторила о моём геройстве, о Толике, о Паше и снова о том, как я, и как те, и как кто сказал, и что сделал...

Краем глаза отслеживая дорогу, я любовался спутницей и собою, каким вырастал из её слов и её восхищённого взгляда. Душа парила, а я выжимал педаль, ускоряя полёт.

Потом исчезла вдруг колея, и ветки бросились лупить по окну, открытому с моей стороны.

И я сделал ровно то, чего нельзя было делать — крутнул руль в сторону от веток и ударил по тормозам.

Счастье, что неподатливая баранка поворотилась не так круто, как я хотел её заставить. Мы не летели кубарем — мы плавно кренились набок. Вес многотонного бура легохонько укладывал нас на бочок и словно посмеивался над суматохой, в которой я тщился что-то предпринять.

Падая, «бурка», будто живая, визгом и басом прокричала десятками своих сочленений и упокоилась на мягком песке дороги.

Слегка переведя дух, смекнув, что мы целы и что она верхом сидит на мне, моя спутница, неудержимая веселушка,

ударилась в хохот. Конвульсии свернули её в комочек, и её щека, заолодевшая, как украденное ночью яблоко, коснулась моих губ. Я не успел ещё почувствовать веселья, но её смех уже вовсю отплясывал во мне, а её смеющийся рот в перекрёст сошёлся с хохочущим моим.

Жестами сквозь смех я показывал — выбирайся. Она топталась по мне и покатывалась уже от этого. Наконец, как лягу погребца, откинула дверцу. Я стал подсаживать, и теперь она умирала со смеху от того, что я брал её за бока и что есть мочи подталкивал под попку.

Спрыгнув на землю, мы стали целоваться. Смех, словно ток в заземление, выскочил прочь, и осталось только одно — то, что в руках — она. Такая вся ладная, так славно вся устроенная, правильная в каждой своей клеточке маленькая женщина.

Я чувствовал, как хмелею, не зная, что это ещё и от выпитого. Коварное пиво, называемое «шатун»...

Чудилось, будто хмелеет и она. Благодарной и зовущей податливостью она без слов говорила, какая радость для неё знать, что вот такая нежная и крепенькая у неё спинка, и талия, и ножки, и грудки, которые можно сжимать крепко-крепко. И как хорошо ей от того, что мне так хочется трогать и гладить её.

Как мы оказались у сена, как разорили стожок? Этого не осталось в памяти.

Сено щекотало, покалывало, норовило пробраться за шиворот. Я снимал её треники, и она приподнималась, подгибала коленки, чтобы помочь.

И «шатун», «шатун»!.. Он отключил страхи, убрал робость. Но он же и туманил, не давая ясно видеть, ясно чувствовать. Моё первое проникновение вершилось в какой-то мути, несвязности, в непослушании рук и ног.

Событие, ради которого я родился и прожил четырнадцать лет, сохранилось во мне несвязными обрывками. «Шатун» вымарал из памяти почти всё.

Просветами вспоминалось, что я прерывался в решающие мгновения, оберегая её: кодекс мужской осмотрительности, усвоенный из откровений тех, кто постарше. Но присягнуть, что был в этом до конца безупречен...

Суетный торопыга, я спешил так, словно с секунды на секунду должен был наступить конец света. Невежественный мой новобранец трепыхался, стремясь пробиться поглубже.

Ударял, ударял и, взвоясь, ненароком терял её, оказываясь в сене, в колючей трухе. И снова рвался и рвался вперёд.

Бедная, бедная девочка!.. К утру мой юный барабанщик представлял собою ужасающее зрелище. Если бы его, возбуждив, хорошенечко ошкурили со всех сторон крупнозернистой наждачкой, вряд ли бы он выглядел хуже. А что же было у неё?..

Похмелье, оставленное «шатунном», состояло из диковинных пакостей. Насухо высохший рот и гул в голове — сущие пустяки. Я не мог идти. Сигналы мышцам где-то застревали и путались. Меня не просто шатало (вот откуда название!), — меня швыряло наземь.

— Полежи! — уговаривала Иришка. — Пройдёт!

Страшно было думать о Паше, о том, как подставил и его, и зятя, и всех. Страшно было думать о «бурке» — поправимы ли её увечья?

А не думать не мог, и мысли эти будто помешивали в голове что-то тяжёлое, причиняя боль и нагоняя тоску.

Стиснутому в гудящей голове сознанию было невдомёк, что бригада тоже пила «шатун», и пила вволю. Между тем пока я, одолеваемый торопливостью, догонял и догонял в разорённом стогу Иришку, бригада с вечера и до рассвета преодолевала тридцатиметровый путь от клуба до школы. Продвижение в одиночку исключалось как таковое. Втроём они сцепляли в замок руки, со скрежетом зубов собирали волю и поднимались на ноги. Делался шаг, в конце которого кто-то терял равновесие, заваливая всех.

Я не знал, что работы нынче не будет: всем хуже, чем мне. Не знал, что после полудня к беспомощной «бурке» мы подгоним кран. Что мужики, бывавшие и не в таких передрыгах, зачалют трос в точно известном им месте и, словно котёнка за шиворот, поднимут и поставят «бурку» на ноги. Что мы с Пашей кувалдой и ломиком подрихтуем мятое крыло, и побежит наша машина резвее прежнего.

Ещё я не знал, что события этой ночи станут новой историей бригады, потеснившей байку о Пашиных побывках. Что сказания о моих проделках, подобно сагам кичливых скандинавов, день ото дня будут прибавлять в героике, и что сам я в итоге приму за подлинную наиболее доблестную их версию.

Ничего названного я ещё ведать не ведал и всего лишь собирался с духом, не зная, с какими глазами явиться к своим.

Но ожидание расплаты и муки похмелья пасовали перед другим. С замиранием сердца я думал, встретимся ли ещё. Захочет ли, сможет? Не навредит ли ей всё, что было в эту ночь?..

— Вечером?.. — первой сказала она.

Сказала с сомнением и робостью, которых прежде не замечалось за нею, и я понял, что и её одолевает то же: встретимся ли? Что, как и во мне, это сильнее в ней, чем мысль о нагоняе от родителей и о неизбежной вражде с местными.

Открылось, что она жуткая матерщинница. Мне это было забавно. Ничто в ней не могло не очаровывать меня. Но мы затеяли игру перевоспитания: за нехорошее слово — шлепок.

По лесенке, притороченной к стене хлева, мы крались впотымах на второй этаж, в сенник, где она ночевала. Пробираться следовало очень тихо, и она шепотком, словно утишая каждый мой и её шаг, приговаривала:

— В рот я бу... В рот я бу... — за что я нежно и добросовестно хлопал её по самому тугому местечку под трениками. Это доставляло ей удовольствие; зазорные словечки с лукавой невинностью ронял и ронял её ротик:

— В рот я бу...лочку кладу!

На сене простынкой лежало марселевое одеяльце. При нём — большая подушка и что-то лоскутное, пухлое и тёплое для укрывания.

Она разделась в три взмаха и юркнула в постель. Меня немного задержали пуговицы и обещание не торопиться, которое я клятвенно дал себе.

Под стёганой лоскутной перинкой её плечо, прохладное по первому касанию и тут же вслед за тем — горячее, прижалось к моему плечу, бёдрышко — к бедру. Чтобы потянуть время и хорошенечко распробовать и запомнить, впитать в себя, как это, когда она — от холодных, как лягушата, ступней и до волос на моей щеке — вся рядышком, я спросил:

— Слушай, где ты достала такой плащ?

Вопрос прозвучал желанным и, наверное, давно ожидаемым комплиментом.

С энтузиазмом набрав воздуха, она сказала:

— ОРС забросил на пробу. А никто не берёт. Днём рождения насилу у мамки выпросила. «Куда тебе тут в белом и куда?!» На кудыкину гору! К Димику бегать! — последнее, как секрет, прошептала мне на ухо.

Запах сена густым настоем окружал нас. Внизу, под дощатым перекрытием, переступали с ноги на ногу, вздыхали и бормотали козы с козлятами. За слуховым оконцем возникала и меркла едва заметная звезда.

— Видишь? — шепнул я.

— Где?

— Во-он там.

— Не-а...

— Ну как же!

— А-а, да! Манюня какая... нихуюличка...

Я не нарушил данного себе слова. Запомнил, зазубрил навечно её грудку у себя в ладони, пушистую развилку у начала ножек. И как я проникаю в неё — тихохонько, по чуточке. Чтобы оставить, упрятать в себе каждый миллиметр этого движения — меня в неё.

Я сохранил и храню всё. Но если спросить, какого из этих узелков на память касаюсь я чаще, трепет какого из них не затирается годами, — скажу: голенький её бочок рядом с моим. Её тринадцать лет впритирочку к моим четырнадцати.

А в бригаде только и разговоров...

— Ты, — заводит Толик под перекур, — ты вот что... Как Ирку маманя из дому турнёт... А в тутошних местах, чтобы тебе знать, это скоро! Так ты не тушуйся, мы на полу пока-том, места хватит. Только опять же, чтобы знать, тут всё по старозаветному. Тут как ведётся? Сначала свёкр наберётся, а потом тому, кто старший в доме, опять же ему!..

— Тоже снохач нашёлся! — смеётся Паша. — Дед-пирдет!

— Дед — не дед, — сохраняя достоинство, ведёт Толик, — а папашкой бы в самый раз. А Ирка, — опять цепляет меня синей, подрагивающей от усталости рукой, — Ирка она — ух! Была бы моей дочкой — учил бы уму-разуму всю ночь!

— Да-а! — иронически соглашается Паша. — Я, грит, деру с большим напором! Сказал и умер под забором!

Балагурство и балагурство. Из пустого в порожнее. Но сальности, одна другой жирнее, никого не пачкали. Глаза, улыбки ребят и известное теперь в полной определённости их отношение ко мне говорили, что им хочется ещё и ещё разок погордиться за меня. И напомнить, что и они из того же теста.

Я строго выговаривал, когда она прибежала к нам на работу. Я сердился. И умирал от тщеславия.

Мы не ходили в клуб, у нас была река. Быстрая — песок вымывает течением из-под ноги. И дикий сплав по ней. Мы взбираемся на бревно и несёмся вниз. Потом вприпрыжку по тропке обратно и ловим новое...

Удобно целоваться, когда она на дерновой ступеньке берега, а я на песке плёса. Губы вровень губам, и всё, чего хочешь коснуться, под рукой. Там, у той ступеньки, я был закодирован на пожизненную слабость к девчонкам ростом мне по подбородок, с тонюсенькой талией и попкой, крепенькой, как мячик.

А ещё мы считали дни. И вместе и каждый про себя. Наше время уходило от нас. Мы тосковали дружка по дружке, сидя в обнимку и ероша босыми ногами один и тот же не липнущий крупный песок реки. И утешались, что остаётся ещё семь... пять... два дня...

ИНКА-ИРИША

В Питере две недели меня водила за нос одна экзальтированная особа, с которой мы познакомились на пляже под стеной Петропавловки. Бледная, анемичная, как и солнце в тот день, она стояла, раскинув руки, и на фоне бурого булыжника крепостных укреплений казалась сошедшей с одного из полотен символистов.

— В моём лице, — говорила она, — кому-то достанется самая неприхотливая жена на свете. В перерыв я съедаю в буфете «Астории» один-единственный бутербродик с чёрной икрой...

Днями до полного отупения я шатался по Эрмитажу или Русскому музею, а вечером, выйдя с работы, она водила меня по городу, который знала и который весь тоже был музеем, только бесхозным, брошенным под открытым небом на произвол судьбы.

К ночи нас можно было обнаружить где-нибудь на детской площадке или в некогда роскошном, а теперь обшарпанном парадном. Она не отпускала меня. Ей хотелось целоваться и страстно хотелось чувствовать мои руки блуждающими по ней, чтобы с оскалом ярости срывать их себя. А в полночь, как по расписанию, её ударяла истерика. Вымученный и издёрганный, я убирался восвояси на дежурном троллейбусе, график хождения которого удачным образом сочетался с режимом её припадков.

Из-за отсутствия пассажиров казалось, что троллейбус катает по городу свет, глядящий из окон на ночной город. Но в этот раз он подошёл не пустым — у заднего окна спиной к салону стояла девочка в новеньких, с иголочки, белых брючках и такой же курточке с модными подплечниками. Прятаться было не от кого, и она плакала навзрыд. Она так плакала, что не подойти представлялось настолько же невозможным, как если бы у неё была рана, из которой хлещет кровь.

Я приблизился и осторожно, насколько позволяла качка, тронул её плечо.

— Убери ручонки! — выкрикнула она так, словно я, и никто иной, был её обидчиком, и, рванувшись, забилась в угол.

С чувством, будто и вправду вина на мне и её надо загладить, я шагнул следом и снова коснулся её плеча. Она не вырвалась: что-то ослабло в ней. Я погладил её руку о обнял её так, как обнял бы близкого человека. Она поддалась и вскоре повернулась ко мне, уткнув лицо в то место, о которое у меня изнутри ударяло сердце.

Соотношение в росте напомнило вдруг Иришку, первую мою девочку-женщину. И спинка, вздрагивающая под моей рукой, пронзительно походила на ту спинку.

Я не мешал ей плакать и долго ли, коротко, но со слезами из неё ушло то, что должно было уйти, а мы, стоявшие в обнимку, стали за это время теми, кому позволено и положено стоять в обнимку.

Раза два, чтобы взглянуть на меня, она поднимала лицо, и я, испытывая недоумение и нечто похожее на страх перед чем-то мистическим, узнавал в ней Иришу. Те же небывало крупные, мичуринские чёрные смородины зрачков, та же забавная картошинка носа... Мы будто встретились, прожив, однако, разное время: я девять лет, а она — года два.

Прекрасно понимая, что так не бывает, я, тем не менее, скользнул рукой к её талии, проверяя она или не она. Талия, заставив руку дрогнуть, удостоверила: она.

Тут снова, и теперь чуть-чуть игриво, прозвучали словечки, которые она где-то слышала и которые ей чем-то понравились:

— Убери ручонки!

Ручонок я не убрал, но почувствовал до смешного глупую обиду на то, что она не узнаёт меня.

Ей мучительно хотелось поделиться, однако говорить о произошедшем мешала гордость. Отрывистыми раздражёнными

фразами она будто отвечала на моё назойливое выпытывание, хотя я ни о чём не спрашивал. Не всё понимая в точности, я узнал, что она закончила восемь классов и поступила в техникум. Сегодня нашла себя в списках принятых и с кем-то из бывших одноклассников или новых однокурсников радовалась этому событию. И кто-то из её компании куража ради подло обидел её.

— Плюнь! — убеждал я. — Выбрось из головы! Я знаю на Невском ресторанчик — закачаешься! Мы с тобой завтра — или уже сегодня? — так отметим там твоё поступление, что они все перемрут от зависти!

Ей не приходилось ещё бывать в ресторане, и то, что это нынче осуществится, поманило её душу к хорошему и тому, что будет, увлекая прочь от плохого и того, что прошло. А я... Её реакция бесхитростно польстила мне и до краёв наполнила предчувствием главного везения в жизни — везения в любви.

Тогдашний общепит развлекательного направления находился в недостижимом далеке от желания баловать нас кулинарным разнообразием. Четыре блюда приготавливалось ресторанами страны: шашлык, бифштекс, котлета по-киевски и цыплята табака. Но в столицах рестораны категории повыше предлагали ещё и рыбное ассорти. На обширной тарелке с невысоким бортиком, похожей на ту, с которой лиса потчевала кашей журавля, на идеально отмытом, в каплях, словно в росе, листке салата лежал свернувшийся, как стружка, срезанный с куска черпачком с зазубренными краями колобочек сливочного масла. Справа от него на том же листке салата располагалась столовая ложка красной икры, слева — икры чёрной. На северо-восток от салатного листа в одинарный слой островками залегали зелёный горошек и в полусантиметровых кубиках отваренная в мундире картошка, краплёная маслом, свеколка и морковочка. На юге обитали две золотистые шпротины и два филейных ломтика селёдки с присыпкой из зелёного лучка и политые маслом. Запад, северо-запад, север, восток и юго-восток заполняли свежайше срезанные, внушительные по площади, но тонкие-претонкие, лежащие попарно, внахлест и очертаниями напоминающие профиль самолётного крыла два ломтика осетрины холодного копчения, два — горячего, два красной рыбы горячего копчения и два красной же — холодного. Только что наструганное и спрыснутое маслом всё это пахло морозцем и источало гамму аро-

матов, которые упоительно щекотали сразу где-то глубоко в желудке.

Днём я предусмотрительно наведалься в ресторан и, оставив задаток и столько же чаевых, заказал столик на двоих, за которым даже при большом желании вечерней смены не поместился бы никто третий, свежую, первой простилки скатёрку, шампанское в ведёрке, вазу марокканских, любимых по армии апельсинов и две порции описанного выше ассорти.

Цветы, с которыми я её встретил, парнишка-официант освободил от обёртки, и в вазе они, словно крона цветущего куста, раскрылись над нашим маленьким столиком.

Инка смотрела на меня, на цветы, на розовые, величиною в два соединённых кулака апельсины и опускала глаза к крахмальной скатёрке, вид и касание к которой тоже доставляли ей удовольствие.

Мы пили шампанское, с одинаковым аппетитом закусывая рыбными разностями, но разговор никак не завязывался: объединённость, возникшая после её слёз, словно укатила куда-то, забытая нами в троллейбусе.

Я искал, за что бы ухватиться, и спросил, бывала ли она в Москве. Нет, в Москве ей бывать не приходилось, и я, чтобы о чём-то говорить, словца ради предложил:

— А давай съездим в Москву!

— Как это? — раскрыла она повзрослевшие Иришины глаза и с удивлением отворила нетронутый временем Ирин ротик.

— Обыкновенно. Поужинаем, на вокзал и «Красной стрелой»...

— А мама?.. — спросила она растерянно и с огорчением, будто всё у нас было уже сговорено, и только разрешение мамы оставалось препятствием к поездке.

— Тогда так, — сказал я, — ужинаем, берём такси, дома ты говоришь маме, что прогулкой по Москве вы с друзьями из техникума решили отметить поступление. Заодно и прихватываешь самое необходимое. Потом вокзал и «Красная стрела».

Она задумалась, наморщивая лобик, как у классной доски, и, размышляя, поводила в углу рта кончиком языка.

— Нет, — прозвучало разочарованным итогом. — Я договорилась со Светкой. Она завтра придёт, а мама не поверит, что Светка не в курсе.

— А что нам мешает заехать к Светке и ввести её в курс? Ужин, Светка, мама, вокзал.

Её немного выбило из колеи, что выход найден и что он так

прост. Зато предполагаемое введение Светки в курс показало необыкновенно заманчивым. Так лихо пустить подружке пыль в глаза, к тому же не соврав ни слова, и на бегу, оставив недосказанным ворох любопытнейших деталей...

Кресла от аэрофлота, отсекая высокими спинками попутчиков, поместившихся впереди, и попутчиков, сидящих сзади, создавали автономию пространства, отданного для двоих.

Поезд тронулся и, выйдя за черту города, набрал ход. В согласии с поздним временем плавно погасли яркие лампы, оставив сиреневый свет, похожий на поддельную белую ночь. Мы одинаково поняли это как сигнал и стали целоваться. Уютно припрятанная, но и защищённая местом, которое не позволит мне требовать большего, она уплывала в поцелуи, бесшабашно оставив всё рассудочное, и этим ещё больше, чем тем, как была вылеплена и прорисована природой, ввергала в мистическую путаницу: где я? и что со мной происходит — не то ли, что было девять лет назад?..

Метро дыханием сквозняка заигрывало с её тёмными прядями, и она, стоя ступенькой выше, но оставаясь меньше меня, тянулась к моим губам, а глазами, казалось, видела только мои глаза. Но нет же, нет! Весь встречный поток, влекомый эскалатором вверх и провожавший нас зачарованным поворотом всех без исключения голов, тщеславно отслеживался уголком её глаза. И мне, стоявшему спиной к движению, уголок этот сообщал по большому секрету, что мы с нею на зависть всем хороши собой и невероятно счастливы. Так счастливы, что это заставляет всех, забывшись, равняться на нас. Конечно, стой мы точно вот так же сами по себе, ничто бы не мешало нам чувствовать что-то похожее на то, что называют счастьем. Но здесь, словно гигантским горном, раздуваемое самозабвенным признанием сотен свидетелей, счастье сжигало наши души. И мы знали доподлинно, что поврозь ни я, ни она ничуть бы не затронули ничьего внимания, — и ещё и от этого обожали друг друга.

Куколка, совершенно такая же, какой была тремя годами прежде, в той же кофте и юбке, в тех же бежево-коричневых в рубчик чулках и с тем же покрытым испариной разгорячённым лицом, узнала и встретила меня так, будто я только вчера вечером покинул её жилище. Все наши армейские, бывая

в Москве, останавливались у неё, и все сходились во мнении, что своих постояльцев она помнит, как родственников.

— А я к вам с женой! — с порога объявил я.

— Жена-а?.. — пропела Куколка, с мастерством и экспрессией бывалой базарной скандалистки умело вложив в напевное «а-а» и насмешку над моей не очень-то ловко изобретённой ложью и своё недвусмысленное отношение к недозрелым вертихвосткам, разъезжающим с чужими мужиками по городам и весям. Но тут я опустил в её руку загодя взятую из кошелька сторублёвку, и Куколка непосредственно от своего уничижительного «а-а» с умилением и сладостью восхитилась:

— Какая молоденькая! — чем сделала комплемент и решительно зачеркнула свои неуместные сомнения на предмет того, жена ли.

Как и всякий безотчётно подверженный эгоизму, я потащил Инку туда, где было интересно мне, — в Третьяковку. И она, бедненькая, битый день безропотно семенила за мной, с деланным интересом разглядывая до смерти наскучившие ей картины.

Перекусив сосисками с капустой в забегаловке при ресторане «Прага», мы прокатились на катере по реке и, отстояв очередь перед дверью, в которую пропускал швейцар, поужинали в «Пекине». И мрачные от усталости затемно воротились к Куколке.

В постель Инка скользнула в одних беленьких трикотажных трусиках, рассчитанных на подростков и прилично и тепло укрывающих всё, что следует прикрыть. И отделилась от меня общим у нас одеялом, подвернув часть его середины под себя. Я принял это за игру, легко избавился от одеяла, скомкав его к нашим ногам, и потянулся целовать, ожидая тех же ненасытных губ, того же дыхания и той же податливости, какие помнил по ночи, проведённой в пути. Но она напряжёнными руками прятала от меня грудь, а поцелуи встречала плотно сомкнутым ртом. Всё ещё не принимая её зажатости всерьёз, я принялся за её трусики и, учитывая разницу в длине рук и их силе, в две секунды оставил её голышом. Инка в отчаянном рывке отстранилась и, стремясь спрятать всё, что можно спрятать, вжалась грудью в постель, подняв ко мне перепуганные, просящие глаза.

Свет прожекторов, направленных на плац части, расплывкаясь по сторонам, ослабевший, разбавленный затекал и к нам в комнату. Раздетая, маленькая, затравленно глядящая

из полумрака, она напомнила мне тринадцатилетнюю жену Гогена, — испуганную чем-то потусторонним, голенькую, лежащую ниц девочку-таитянку с картины, название которой переводят как «Дух умерших бодрствует». Промелькнула и вернулась мысль, не есть ли моё по-хозяйски уверенное притязание на её ласку чем-то сродни предъявленному счёта за поездку?.. Такое толкование легко прикладывалось к тому, что я делал. И я растерялся, не зная, как же поступать.

— Ты девочка? — спросил я.

Она кивнула — нет.

— Ты чего-то боишься?

Она кивнула — да.

Я подцепил ногой и, приняв руками, расправил над нами одеяло.

— Не бойся. Я больше не буду приставать. Честное пионерское! Мы так договоримся: приставать можно, но только тебе.

— Мне?

— Угу. Захочешь — приставай, я тебя не боюсь. А сейчас давай спать, устали, как черти...

Закрыв глаза и через полсекунды услышал команды развода. С головою запахнутый тулупом, я грезил об Иришке, мечтою возвратясь к тому ночлегу, где сено дышало вместе с нами и где сиротка-звёздочка заглядывала к нам сквозь слуховое окошко. Её плечо, весь её голенький бочок, волшебны и невероятно осязаемый моим боком...

Грянула музыка. Трубы привирали, но марш, с которым мы всем народом столько плакали и так торжествовали, минуя неумение трубачей, занозил что-то в душе.

Я проснулся. Роты рассаживались по машинам. Я не укутан в тулуп, нет сена и звезды, но голенький бочок, волшебный, невероятный...

С какой же неохотой я оставлял этот бочок, чтобы, тихонько выбравшись из постели, пожурчать в унитаз, почистить зубы и побриться.

Когда, крадучись, я вернулся, она, насупленная, недовольным голосом потребовала мою рубаху, в которой, как в халате, тоже сходила пописать и умыться. Рубаху она заботливо развесила на спинке стула и, прикрываясь ладонями, неловко заползла под одеяло. И притронулась губами к моей щеке. Я понял это как поздравление с добрым утром и ответно пожал её руку. Тогда она снова приложила губы — теперь продолжительнее и настойчивей, как повторно звонят в дверь нерасто-

ропным хозяевам.

Я повернулся к ней лицом. Примятая подушкой кожа на виске, пухлые со сна губы и ясные, отдохнувшие глаза.

— Это ты пристаёшь? — спросил я и улыбнулся.

Она тоже хитренько улыбнулась, подманивая меня глазками, и я отправил руку проведать бочок, оставленный мною с такой неохотой. Ложбинка талии и бесподобный, девять лет сокровенно хранимый памятью комочек мягкого на бортике тазовой косточки.

Мы целовались, руками я позвал её лечь, как лежала Ириша. Я помнил каждый миллиметр моего пути в неё — всё повторялось с невозможной, ума лишаящей схожестью.

Я целовал, целовал, целовал её с благодарностью, что похожа, а она была так похожа, что я целовал уже не её, а ту...

Передохнуть и остудиться мы, запахнутые одним одеялом, вышли на балкон. Я показывал окна моей мастерской, говорил о сапогах, подвешенных парадным строем.

Ей доставляло телесную радость укрытой, но без одежды стоять на балконе и она нет-нет, а и дотрагивалась до меня, оживляя эту радость.

— Это ты пристаёшь? — шепнул я.

Потом Куколка пришла угостить нас чаем и сушками. Сушки были так тверды, что, разгрызая, казалось, высекаешь из них искры. И вкусны необычайно.

Гадливеньким шепотком я принялся секретничать о Куколке и Эдьке, о разборках Куколки с его супругой, о том, как Эдька здесь в уборной рухнул с толчка, привалив собою двери. Ничто ей не было так интересно, как сплетня, и Инка сияла глазами и готова была слушать бесконечно.

Пять дней мы чередовали кавардак в постели с гулянием по городу, с хождением ради отдыха в кино и с муторными её звонками с переговорного маме, от которых враньём разило за версту.

Я рассказывал о Гогене, о картине, которую она напонила мне, и тащил её в Пушкинский музей.

От корки и до корки я выложил всё, что было с Иришей. Она огненно ревновала к сходству, перед которым я в благоговении разводил руками.

Я говорил о Сякине, о Темнине, о шинелках, сменянных на кутежи. Говорил о Колюне, Настеньке, Жеке, Лизуше, Еленке. Говорил о говорунье-Нончике, о книгах. И без конца приплетал истории великих судеб, великих сюжетов, великих

сооружений и великих картин. Всего этого наравне с желанием обладать ею было так много во мне, что я сбивался, бросая одно и ухватываясь за другое, и казалось, что пиршеству историй и неутолимому насыщению ею не будет конца.

Но прошло пять дней, всего лишь пять, и в одночасье вдруг иссякло всё пережитое и узнанное. И, как назло, в ту же минуту я ощутил, что больше уже некуда брать, что я полон ею избыточно и что так же избыточно полна и она мной.

Мы выдохлись. И поехали обратно в Питер.

На верхней полке я рассеянно глядел мимо потолка, когда почувствовал: что-то не то творится с лысоватым, безвозвратно затюканным в супружестве мужичком из семейной пары, которая делила с нами купе. Повернувшись, я увидел, что его взгляд пойман, как пескарь на уду, чем-то, что происходит подо мной, где устраивается на ночлег Инка. Я свесил голову, увидел её в одних трусиках вешающей на поручень над постелью свои непостижимым для меня образом сохранившие нетронутую белизну брючки. Ввиду жестокой усталости, она была трогательно доверчива к попутчикам и хороша, как сама юность. Но я скучливо отвернулся, не чувствуя ни ревности, ни желания ещё разок полюбоваться ею.

И вот ей немного за двадцать. Она совсем не выросла и теперь не достаёт мне и до плеча. При этом в ней недостижимо, почти пугающе вымахало её Я.

Жутко видеть, что она выделяет со своей пяти-семилетней мелюзгой, выворачивая их суставчики и переламывая спинки, а те напрашиваются на мучения, млея под её властными руками. Бросается в глаза, что все они, все как одна, уже собезьянничали у наставницы повадку и гонор несгибаемой стервы, на которых замешано её Я, и что уж в чём, в чём, а в этом они будут подражать ей до гробовой доски.

Под прозрачными колготками Иришкина ступня, с которой я снимаю мерку и которую, будто нарочно, чтобы мне не узнать, испортили лаком, спрятавшим живые ноготки.

— А здесь будет щекотно! — пускаю я в ход дежурное балагурство, обводя след с внутренней стороны, и поднимаю глаза, ожидая её улыбку — такую родную, такую желанную и первую, которая очаровывалась мной. А встречаю скучливое безразличие, слегка раздражённое необязательной говорливостью.

«Валерия», — записываю я на мерке и ещё одной подговор-

кой из запасника пробую подбить клинышек:

— Лафа этим сапожникам: у кого ни спросят телефончик — пожалуйста!

На что голос, диктующий цифры, проливается сверху, подобно средству по удалению ложных надежд.

Несолоно хлебавши, опускаюсь перед дамой посолиднее, которая в этом же зале возится с девчонками постарше и чьи руки, по всей видимости, вылепили «художницу» и из моей Иришки — Валерии.

— И я у ваших ног! — разрешаюсь ещё одной репликой из роли разбитного мерщика, простелив перед ней чистой стороной тот же лист.

— Последствия травмы... — смущённо говорит она о своей растекшейся оладьей стопе.

— Сапожник — тот же доктор! — уверяю я словцом к случаю и, проводя ручкой у чувствительной внутренней стороны, замечаю, как она поёживается, будто маленькая, а слышу Валерию, которая отчитывает одну из малышек:

— Здесь гусыни не нужны! Не сядешь на диету — после каникул можешь не приходиться!

Под подавленные всхлипы в той стороне, куда нацелен мой интерес, записываю: «Лилия Львовна». И с шутливым флиртом, обязательным, как вежливость, когда заказчице «за», принимаю и её телефоны.

Толянчыу в «Ласточке» выкладываю, дав волю отчаянию:

— Мерка моей первой девчонки!..

— В смысле? Снова похожа?

— Не похожа, а живая она. И такая — не подступись. Что делать?

— Поставить в очередь! — выпаливает он, не задумываясь.

— И?

— Не «и», а изошримся и сделаем им так, чтобы ахнули. Что она — первая? Запицит — и это хочу и разэто! А ты — да, да, но не вдруг: очередь! И пусть сама звонит!

— А возьмёт и не позвонит? А и позвонит — не ради же меня...

— Иди знай! Когда им что-то от нас нужно...

Иришке ничего не было «нужно», и мне, словно не мне, а тому недотёпе, которому Иришка сказала: «Здравствуй, Дима!..», дико было и подумать о каком-то там «нужно».

Набирая её номер, сказать, что готово, я трусил, как малолеток. И вдруг ответила Иришка — такая же ТА и в точности

так же, как откликнулась бы на мой звонок, будь он осуществим ТОГДА.

Душа моя в мгновение ока воротилась в свои четырнадцать, и я брякнул:

— Давай встретимся!

Там замолчали. Это длилось так долго, что я успел почувствовать, что во мне нет души, что я пуст.

— Речь, конечно, о жизни и смерти? — спросила уже не Иришка.

— Конечно, — сказал кто-то за меня.

Она не ответила. Я ждал, недоумевая, откуда в трубке такое громкое моё сердце.

— Когда? — наконец сказала она, явно пересилив себя.

— Как только вы сможете, — сказал я «вы», ещё полторы фразы тому не сомневаясь в «ты».

— Завтра, — произнесла с отчётливым желанием отделаться. — В первой половине... — помедлила, вспоминая, что у неё завтра. — В одиннадцать.

— Лучше в двенадцать: в одиннадцать они могут ещё не открыть.

Опять помедлила.

— Хорошо. Но в три у меня первая тренировка.

— Мы успеем, — сострил за меня кто-то, кто говорил, что лучше в двенадцать и что там могут ещё не открыть. — У них цыплята-гриль почти как воробьи.

— Ну, если как воробьи... — нехотя улыбнулся её голос.

— Минут через сорок... — не очень уверенно предположила девушка за стойкой, оценивающе поглядев на бледные тушки за прозрачной заслонкой. — Музыка включить?

— Негромко.

Витринные окна плотно завешены тёмным. Слабый светильник опущен почти к столешнице, которая, словно взятый в рамку квадратик стены, выложена чёрной керамической плиткой. Сделано с оглядкой на цыплят, терзаемых руками, и моя спутница, выудив одну из салфеток, кокошником посаженных в стакан, старательно протирает перед собой. Управившись, останавливает на мне взрослые Иришкины глаза.

— Знаешь, — говорю я, безотчётно съехав на «ты», — во мне постоянства — кот заплакал. Но тебе я храню верность с четырнадцати лет.

У неё совсем, как у той, тринадцатилетней, удивлённо ра-

зомкнулись губы, а из глаз вдруг выронило куда-то непомерное Я, предвзятое ко мне.

— Я был кем-то вроде сына полка, а бригада ставила у посёлков в тайге понижающие подстанции. Паша доверил мне руль «бурки». И на дорогу, сигналив, выбежала из малины тринадцатилетняя ты. Села к нам, сказала: «Здравствуйте!» И сказала мне: «Здравствуй, Дима!» Я выкатил глаза, как ты сейчас, а ты расхохоталась, довольная удачным розыгрышем...

Я рассказал об Иришке, впервые удивившись, в сколь немногих словах уместилось то, что было заглавным чудом моей жизни, и страдая косноязычием в толковании о сходстве, об их тождестве.

— А потом тебе было пятнадцать, а мне двадцать четыре. Ты плакала ночью в троллейбусе в Ленинграде. Я так старался утешить, что повёз тебя в Москву... Всю жизнь я скучаю по тебе и ищу тебя. Высматриваю тебя во всех...

— Ты хочешь, чтобы я выступила на подхвате у твоей Иришки?

— А это так выглядит?.. — потерялся я. — Нет, я просто хотел сказать правду.

— Наша Лилия сейчас бы спросила: «Кому нужна твоя правда?»

Я поискал, кому, и нашёл только:

— Мне...

Она смотрела с вызовом, диктуемым характером, и с интересом, который всё же затронули в ней мои откровения, растормошив, как видно, не одну норовистость. Наконец, мичуринские смородины её зрачков сверкнули задиристо, и она сказала:

— Что ж, как большому любителю правды, признаюсь: прийти сюда меня, как слоницу, уговорила Лилия. Лично мне ты... не показался. И если бы не её бесконечные ахи, что якобы ты похож на греческого бога... Впрочем, у неё, у дочери еврейских родителей, свои представления о греческой красоте... — заметила, с юмором намекая на наличие в моей внешности иных древних отголосков.

— Ура! — сказал я примирительно. — Мы квиты: ты знаешь, что я пришёл не совсем к тебе, а я буду знать, что ты пришла не совсем по своей воле...

— Совсем не по своей, — настояла она.

— Похоже, ты любишь правду не меньше моего! — заметил я с готовностью отвечать на уколы. — Тогда почему бы тебе

не признаться, что ты обещала подробно рассказывать о нас?

— Я?! Обещала?! — воспламенилась она. — Да, обещала, — уверила с достоинством. — А ты откуда?.. — подкатилась вдруг с вкрадчивостью и любопытством, явно перешедшим к ней от учениц.

— Если кто скажет: «Вот новое, которого ещё не было!» — так это уже было...

— Было?

— Было. У меня с этим связано такое хорошее... Если подругимся, обязательно расскажу.

— И тебя это никак не... напрягает?

— Наоборот! Я сразу прошу, как просила в том моём хорошем одна бесподобная умница: «Рассказывай обо мне!» Она просто умоляла: «Всем-всем рассказывай обо мне!»

— Ты так легко признаёшься в сомнительных знакомствах...

— В сомнительных? То знакомство... Там было, о чём рассказывать. Хорошо бы и у нас осталось, о чём рассказать.

— Какой-то ты... Даже не знаю... Меня бы, например, заело, что ко мне пришли по чьей-то подсказке...

— С какой стати? Да я женился по слову наставников!

— Же-нился?

— Женился, — подтвердил я, не понимая, что её удивило. — А ты не советовалась с Лилией перед замужеством? — кивнул, показав на её кольцо.

Не пожелав признаться, она неопределённо сыграла бровями и бросила в направлении барной стойки:

— Девушка, мы ждём уже больше часа!

— Да, да, ещё немножко...

— Зачем же обещать — сорок минут?

— Да, да, они вот-вот!

— Давай, пока там поспеет, примерим, — предложил я, берясь за пакет, лежавший рядом с её сумочкой на третьем стуле.

Оговаривая цвет, она показывала эту сумочку, и, кажется, я почти угадал. Выбранные ею в журнале босоножки теперь, живым изделием, и на её золушкиного размера, с балетным подъёмом стопе дали бы сто очков форы журнальному образцу.

Нежно порозовев почти в цвет сумочки и обновки, она подняла на меня глаза и, шутливо копируя дядюшку Скруджа, на которого вдруг свалилась гора золота, проделала выразительное, уморительно мультяшное (тоже, тоже от учениц!) глотательное движение.

Девушка из-за стойки, загадочным образом вдруг очутившаяся рядом, лаская зачарованными глазами Валеркины лапотоши, пролепетала:

— Молодой человек, а можно?..

— Можно, — сказал я, подражая Тохе, который любил этот пассажик из комедии, обожаемой всеми.

— Такие?..

Валерия, став совершенно естественной, наработанным кодом из своего общения с малышнёй скроила гримасу Тома, которому Джерри прижал хвост раскалённым утюгом, и я поторопился ответить:

— Такие — нет.

— А...

— Я принесу каталог, вы выберете своё.

— А девочкам...

— Можно.

— А хозяйке...

— И хозяйке. Давайте телефон, я позвоню, условимся о дне, и всё будет.

Упорхнув за завесу из бус, она почти тут же вернулась с целым списком имён и телефонов и, развернув стул от ближайшего столика, села, намереваясь уточнить детали сотрудничества, но я, приняв бумагу, мимикой напомнил, что не один и что мы давно глотаем слюнки, дразнимые ароматами её револьверной печи.

Словно прощаясь с надеждами всей её жизни, дежурная по кафешке, которой неодолимо хотелось посудачить о том, что и она вскоре вот так же наденет что-то неотразимое, всё же поднялась и оставила нас одних.

Иришка-Валерия, проводив посягательницу значащим взглядом, приняла строгий вид, с которым, похоже, являла себя родителям малышни, и, вынув из сумочки, протянула сгиб посвечивающих новизной красненьких, содержащий оговоренную цену.

— За столько лет я ни разу ничего не подарил тебе... — сказал я и ненароком погладил, отстраняя её руку.

Возникла пауза: с подарком она принимала и мою грусть по той, на которую так похожа. Потом, почти уже вернув деньги на их прежнее местечко, она остановилась и спросила так, словно от последнего зависит, согласится ли она:

— Но ты им не сделаешь такие же?

— Ни за что.

- И никому? — спросила она тихо и о чём-то большем.
— Никому! — присягнул я о большем.

«ГЕНЕРАЛЬСКИЕ»

Стараясь не повторяться и угождать фантазиям, мы не могли не набрести на что-то, что до наваждения нравилось бы всем и каждой и не было бы излишне затратно и заковыристо в изготовлении. Найдёныши настолько пришлись по вкусу и нам, и публике, что удостоились имени собственного. «Генеральскими» их называли за перепонку, которая перехватывала ногу у пальцев, и, будучи собрана из полосок тончайшего шевро чёрного и золотого цвета, походила на георгиевскую ленту. Второй и последней деталью верха была мягкая пяточка, состоящая из двух боковых стоек, от которых к ахиллову сухожилию уходил изящный перехват и которые через подъём соединял изысканный ремешок с золотой пряжкой. Чисто чёрная задняя деталь имела, как и перепонка впереди, золотую подкладку. Золотом вкруговую была обтянута и плотная стелька, скреплявшая всё. Снизу, заоваленная бочоночком, стояла невысокая танкетка из одного слоя натуральной коры пробкового дерева и бежевая подошвка, созвучная цветом с пробкой и золотом.

Изделие почти не имело веса, нежно обнимало любую, даже самую проблемную ножку, было завораживающе красиво в руках, а надетым, оказывалось родным для всякой, вне зависимости от роста, комплекции, возраста и случившегося на момент примерки платья.

Без оглядки на одинаковость, «генеральские» стаями заказывали подруги, сменами продавщицы и официантки, бригадами швеи и парикмахерши. При виде живых «генеральских» клиентки теряли интерес к каталогам, требуя только это и ничего кроме.

Известно: кустарная вещь редко обходится без изъяна. Ущербность, преследовавшая «генеральские», была гнетущей, обязательной для всех и неисправимой. Бронзовая пудра — цвет золота — под действием испарины оставляла на живой коже ядовито-зелёные, как медный купорос, пятна.

Я настойчиво предупреждал о последствиях; предательское позеленение воочию являло себя на телах тех, кто имел счастье дожидаться своих босоножек и щеголять в них. Но не было случая, чтобы данное обстоятельство удержало кого-нибудь от заказа.

Пробку ломаными, изогнутыми в радиусе ствола, с которого сняты, иссуха-сухими коржами таскал с «протезки» бывший Тохин сослуживец по «обувному». Это был серьёзный, навязчиво ответственный парняга наших лет, которого «генеральские», как испытанию, подвергли достатку, проявившему его тихие странности. Дважды в неделю мы наведывались к нему в хрущёвку, где он складывал запас, ежедневно вынося подвязанные к груди и спине отборные коржи. Говоря об исполнении и планируя предстоящее, он то и дело с подозрением нюхал свои руки, поднося к носу то правую, то левую и приближая то указательный, то безымянный палец.

На гулёвые деньги он с видом нарочитой хозяйственности стал покупать норковые шапки, которые не носил, но которые, будто валюту, показывал нам в стенном шкафчике, обильно переложенными нафталином и сидящими на скорняжных болванках.

Словно поводыри, «генеральские» таскали нас из одного значного места в другое и как-то привели в распределитель жратвы, легально, но секретно державший на приварочном довольствии начальствующую верхушку. Почти всё из наличных там консервов, мясных и рыбных копчёностей можно было увидеть только в известной «Книге о вкусной и здоровой пище». Но чудом из чудес среди всех этих сокровищ были сардельки. По виду — обыкновенные сардельки из гастронома, но вкусом — вкусом берущие за сердце, за душу и одной мыслью о присутствии их в твоём холодильнике поднимающие настроение.

Страна так поусердствовала в искоренении нашего ремесла, что мы, уцелевшие и не убоявшиеся, в заработках обскакали академиков, а привилегиями сравнялись с секретарями райкомов. И, как уверял покойный Жека, ИМЕЛИ, в отличие от тех, которые ПОЛЬЗОВАЛИСЬ, пока им позволялось.

НЕ ПУТАТЬ С ПРАВЕДНЫМ

В одном из новых районов я снял однушку с кухонькой, ванной и комнатой, начинавшейся сразу от входной двери. Она покорила меня с первого взгляда тем, что, за исключением клавиатура и серебряного подноса, была копией Женькиной комнаты, то есть в небалованном моём представлении — подлинным местом романтических встреч.

Никогда, ни единого разу Валерка не пришла вовремя. Меня помучивал аппетит, но я не трогал «комовских» припасов, не умея «почикать» и выложить так, как умела она, и не желая

лишать её проникновенной радости сервировки, всегда оза-
рявшей её вдохновением, как и всё, что она делала от души.

Я приносил книги и читал, прислушиваясь к лифту, кото-
рый, ввиду отсутствия прихожей, был слышен так, словно
впускал непосредственно в комнату.

Вот проурчали двери, кто-то вышел. Двери закрылись, лифт
тронулся, и мальчишка, высунувшись из квартиры напротив,
крикнул:

— Он уже уехал, гадина такая!

Тут вкрадчиво поскреблась Валерка — я подхватился.

— Господи! —дохнула она с облегчением. — Я подумала —
уехал ты, а гадина — я!

— А и уеду! И пацана научу сказать тебе пару ласковых!
Мы на одиннадцать договаривались — а сейчас?

— Не уедешь! — шепчет она, словно хвастаясь себе собой.

Прильнув и скользя вверх по мне, встаёт на кончики паль-
цев. И подрастает, как на ступеньке эскалатора или дерно-
вом уступе у плёса, приближая к моим рукам Иришкину та-
лию и округлившийся, но всё равно Иришкин задок, который
бывает то податливым, нежным, обольстительно женским, а
то — точёным, как мрамор.

На кухоньке она изображает мульти-пульти-восхищение
заведомой вкусотищей припасов.

— Тебе домой, — говорю я о завёрнутом отдельно.

Она мурлычет признательно и, щурясь от предвкушения,
укладывает почти прозрачный ломтик себе на язык.

— Интересно, как ты дома говоришь — откуда?

Ломтик того же она, привстав на цыпочки, укладывает на
язык мне. Повторяя движения моего рта и без труда остава-
ясь на высоких пальцах, заглядывает мне в глаза и делает на
лице «ай, вкусно!», отчего мне четырежды вкусно и хочется
целовать её ироничные, веселющие и до того аппетитные,
что кажутся съедобными, губы.

Мы целуемся, смакуя друг друга, и отстранившись с лёг-
ким вдохом, она отвечает:

— Ты приноси, я найду, что сказать!

Заморив червячка и побесившись в ванной, как в прибой,
ныряем в постель. Там, барахтаясь и безобразя, она говорит о
книге, с которой я ждал её:

— Какой ты всё-таки читака!

— А ты?

— Я не всегда. Но тоже, если интересно, — и тянется за

томом на широкой спинке тахты.

Открыв на закладке у заглавия рассказа, прочитывает первый абзац. И садится с книгой лицом ко мне. С одеялом на голове, как в капюшоне капуцина, укрытая со спины и вся открытая ко мне, она читает вслух. Я удивляюсь, как ловко озвучиваются девчонками — с точным препинанием и сразу верной интонацией — снимаемые с листа строки. Мне нипочём не сумеет так, и что-то я не встречал пацанов, которые бы умели.

Вытянутая ко мне, прямо лежащая ножка невероятно, но всё же сама по себе, без всякого участия Валерки, ровно стоит стопую на простыне. Вторая ножка согнута в коленке, к которой она приникла щекой, читая книгу, раскрытую на моём животе. Её грудь с розовой, как губы, ягодкой на пиптике немного пустовата: она вот только-только отлучила от своего молока дочку. Это единственная мета, оставленная метаморфозами материнства. Ничто другое в ней, и меньше всего девичий, перевёрнутым блюдечком, животик, не помечено ношением и трудами выхаживания. Мне виден обожаемый мною комочек на гребне крестцовой косточки, полированный, как женские тела у Конёнкова, но я знаю, что старательнее всего и всего глаже выделана её попка.

Когда-то считалось, что ночному бомберу, взятому прожекторами в два луча, не уйти. Двумя лучами памяти — касанием бочок в бочок с Иришкой и чтением с Нончиком — я тоже взял в перекрёст. Я так люблю то бывшее, из памяти, и так люблю её в этот миг, струночкой, паутинкой вытянутый в тончайшее вожделение, что впервые (и уже никогда и ни с кем потом) думаю, как славно бы переменить семью и рожать с ней деток, которые её не испортят, ужинать вприкуску с её поцелуями и читать, отложив плотское на недалёкое и доступное потом. И в это мечтание, созревшее и соблазнительное, как плод древа познания, откуда ни возьмись, непрощенным червячком вдруг въелась мыслишка: «И она будет подкармливать тебя дарёными кем-то деликатесами...»

Однако же мне так хорошо, что гадкая эта мыслишка не омрачает счастья от того, что она, прекрасная, как творение гения, — моя; что моя кожа слышит её кожу, что я упиваюсь желанием, которое и распутно, и невинно, и длится, смиряемое книгой... Эта невероятная радость не должна помрачиться, нет, а мне — и этому, и тому, думающему со стороны, — не следует грешное путать с праведным, только-то.

А ПОЧЕМУ БЕЗ ЖЕНЧИКА?..

Медовые с Валеркой вторники и пятницы вскоре попросились на люди, и к нашим утехам, как к праздничному столу, примкнули, как водится, друг и подруга.

Одетые с иголочки, с похожими короткими стрижками крашенные блондинки, обе красивые, но вместе из-за разницы в росте потешные, как Пат и Паташон, Валерка с Натальей, по-балетному ступая с носка на пятку, следовали по немощёной, утопающей в зелени улочке частного сектора, делая вид, что не имеют никакого отношения к «Ласточке», караулящей в тени пахнущего йодом ореха.

Поравнявшись с машиной, они, будто бы невзначай обернулись назад и вдруг, словно пловчихи со старта, нырнули в заднюю дверцу.

— Гони! — с отчаянной лихостью гикнули в два голоса и припали к сиденью, чтобы не красоваться в окнах яркими своими головками.

Тоха пришпорил «Ласточку», глаза в глаза столкнувшись в зеркале заднего вида с парнем в домашних шлёпанцах, просторных трикотажных трусах с рисунком автомобильчиков вместо расцветки и в рубашке, надетой до половины, застрявшей правым рукавом. Тот, судя по движению рта, издал что-то вроде экстренно окликающего «Э-э!» и вскинул руки. Машина с места взяла в карьер — он безнадежно обмяк и, выдав матерное напутствие, сопроводил его жестом, обозначающим «Ну и... с тобой!» и сообщившим ещё что-то, в чём было чуть ли не облегчение и почти что санкция, разрешающая улизнувшей супруге всё то, ради чего она сбегала.

За первым же поворотом Валерка как ни в чём не бывало представила нас Наталье, которая вскользь пробурчала о муже: «И не спится!..», — чтобы больше ни разу за долгий день не вспомнить о нём.

Наташка, в отличие от Валерки, светловолоса по рождению, хотя и красится в один с подругой цвет. Она выше, массивнее в кости, суше по причине того, что ей, наверное, выпадало голодать построже, чем Валерке, и заметно мягче характером.

Вместе и в компании они — два сорванца в юбке — с упованием растворяются в том почти незаменимом для спорта «Не бери в голову!», без которого человек сжигает себя предстартовой трясучкой и лишается результатов.

Неблизкой дорогой — а нас понесло к Жекиной речушке, на тот пляжик, к которому он приколдовал Лизушу и который оставил нам с Толей почти как в наследство, — барышни были дурашливы, веселы, говорливы и неистощимы в озорстве. Этическая настороженность, диктуемая тем, что Наташа со мной, а обе они с Толиком увиделись впервые, не получила, помнится, и секунды, чтобы заявить о себе. Их хиханьки-хаханьки, сбратавшись с нашим зубоскальством, без оглядки хлюпнулись в общий котёл, в котором тут же забулькал кондёр закадычного приятельства.

На скорости сто тридцать влетели в Ахтырку. Ремонт дороги увёл во дворы новостроек, где показалось, что на восьмидесяти мы ползём. Школьница с формами созревающей богини плодородия переезжала на велике с тротуара на тротуар. Коротенькие в обтяжку бриджи держали в обольстительной тесноте её геометрический центр. Тоха притормозил, провожая глазами манящее с узкого седла явление природы. Все мы, включая юных дам, очарованно разинули рты, и... «Ласточка» с дребезгом налетела бампером на высокий бордюр.

Наездница, не повернув головы, стрельнула лукавым взглядом и покатила, показывая игрой спины, как ей понятен постигший нас казус и как безразличен.

«Ласточка» лишилась правого глаза, но осталась на ходу.

— Коварна красота! — не без бахвальства от их с Валеркою имени заметила Наташка.

Тоха, озабоченно слушая, что там с ходовой, ответил отрешённо и с умудрённостью, навешанной свежим уроком:

— Дед говорил: «Визьмы, каже, два пальца, отакота края розсунь — и побачишь, куды мы трынйкаем, дурни, усе свое жыття!»

После недолгой смекающей заминки дамы в один голос воскликнули:

— Ах ты негодник! — и понарошку бросились на него с кулаками.

— Эй, фурии! — плечом прикрыл я друга, вступая в баловство и принимая шутовскую ярость и на себя.

В ложбинке нашего пляжа паводок оставил серый намыв, который раннее лето ещё не успело выжечь солнышком и провеять ветром. Мы, будто не успевшие прибраться к приезду гостей, замямлили извинения и стали расписывать, как здесь бывает в лучшее время, но наши веселушки, отмахнувшись, как от зануд, сбросили с себя лишнее и с азартом дет-

воры, дорвавшейся до купания, кинулись к воде. На них были цельные купальники, словно слитые с кожей и такие красивые, что, глядя на Валерку, я сделал открытие: на безупречной женщине возможен купальник, в котором ей лучше, чем без него.

Не в пример цветному Наташиному, чёрный Валеркин был прост и совершенно аскетичен. Красота таилась в линии, в алхимии штриха. Черкни он миллиметром выше, чуть-чуть-ку спрями овал — и не было бы вещи.

Угловатая, с острыми коленками и стремительная в каждом жесте Наташка выскочила из воды, чтобы утащить Тоху.

Валерка не бегала за мной. «Примчишься сам!» — не сомневался её гордо запрокинутой затылок. Гладенькие, на вид изнеженные плечи и руки сияли белизной и были словно отрезаны тканью купальника, как и белоснежные ножки, ступающие пальцами, отсечённые чёрным и живущие будто сами по себе.

Я не помчался. Мне хотелось набрать в запас, запомнить, заучить, как гениальную строку, эту почти наивную её состоятельность со мной и красоту.

Она же взялась пособничать в возне с Тохой, который быстрее, чем они могли предполагать, почувствовал себя в своей тарелке и так ухватил Наташку за что-то скрытое водой, что она распахнула и без того большие, золотистые, как сок семечек, глаза, не зная, возмутиться, объявить оскорблением или взять из этой боли и наглости вождеделение, обещанное ими, и принять игру в его приёмах и правилах.

Выбор за неё был сделан Валеркой.

— Паршивец! — процедила она сквозь зубы и молниеносно, словно в намерении поймать рыбёшку, ринулась рукой к его уязвимым местам.

Но Тоха, оказавшись проворнее, атаковал и её. По глубокой промоине русла и в луга понеслись воинственные клики, визг и победный хохот.

— Димон! — вскоре звал он на помощь.

Тетёшкая невесомую в воде Валерку, я умыкнул её за близкий излом речки, на неглубокой отмели усадил, ласкаясь, как в ванной.

Когда мы вернулись к биваку, ни в реке, ни у машины никого не было. Валерка, помурлыкивая, словно в мешок с подарками, запустилась в кулёк с припасами. Я из багажника принёс шампанское, из бардачка — разовые стаканы.

Мы чокались вощёной бумагой дорожной посуды уже не первый и не второй раз, когда послышался голос Наташки:

— А нам?

Разбираясь с едой, подавая ему стакашек, выпивая с ним и с нами, Наташка поглядывала на Тоху с выражением, которое нельзя было не узнать: она смотрела глазами Наденьки.

По привычке, обрётённой в Куряже, я нахватался быстрее всех и лёг, зажмурившись. Через какое-то время над скатертью-самобранкой неожиданно умолкли. Я открыл глаза, посмотрел, куда все. К нам в домашнем стареньком сарафане, зачем-то поправляя на ходу совсем одичавшую копну кудряшек и улыбаясь всем существом, шла... Лизуша.

Мы с Толиком встали — она, сияя озорным взглядом, способным выудить симпатию к ней из любого и каждого, сказала низким голосом:

— Мальчики!..

Тоха раскрыл руки — целоваться, но она сказала:

— Девочки!.. — и уже потом расцеловалась с ним, со мной и опустила на скатёрку кулёк с черешней.

— А почему без Женчика? — посмотрела на меня, отпускающего бороду, на Толика.

— Так его же убили! — воскликнул Тоха, глянув с сомнением. — Ты не знала?

Улыбка погасла в её глазах, они заполнились непониманием и потом ужасом, который впившись в Тоху, в меня что-то отчаянно потянул из нас и из неё самой, оставляя безжизненно бледными даже ключицы в вырезе сарафана. Качнувшись, она взялась за зеркало «Ласточки», оказавшееся под рукой, а я шагнул обнять, как обнимают, сочувствуя.

Она не сопротивилась, но не обняла встречно, и это заставило отпустить её. Свободная от моих рук, она отступила на полшага и, повернувшись, направилась к тропке, по которой пришла.

— Лиз! — окликнул я.

Она шевельнула кистью, прося: «Не нужно!»

И уронила кисть, обвинив и в том, что его нету, и в том, что мы здесь.

БОТФОРТЫ

Лафа, подаренная «генеральскими», избаловала. На всякое новое сам собою косился глаз: а на этом не выпадет показаться, как на «генеральских»?

Одной завистливой невестке не давали спокойно спать ботфорты, которые привезли для её влиятельной свекрухи с какой-то выставки в Италии и которые та, критически оценивая свой возраст и помня о положении, не носила, но и расстаться с которыми не имела сил.

Это были без твёрдого подноски и почти без жёсткого задника, на плоской, как у ичигов, подошве и мягкие, как ичиги, высоченные сапоги с раструбами выше колен, похожими на краги. Скопированные нами, в руках они походили на пожарные рукава, однако надетыми...

Их обладательниц замечали за километр. Вопреки отсутствию каблука они фантастически удлиняли ногу, а ещё... откровенно просились на бёдра жрицам любви. И, как ни странно, именно этой нескрываемо порочной притягательностью даже самых скромных наших заказчиц заставляли вылезти вон из кожи, однако же купить их.

Кроме означенного вызова они отличались удобством тапочек, терпимостью к любым особенностям ноги и броской, заставляющей всю улицу разглядывать их, красотой.

Мы обули в них жён, племянниц, сестёр и дочек своих и друзей, а также всех любимых женщин.

Труда и времени на сборку ботфорты брали меньше «генеральских», а стоили втрое дороже, чем и избаловали нас окончательно.

Не вдруг, не сразу, но всё заметнее стали раздражать временные, а пуще того моральные издержки, связанные с набором и сдачей заказов. Капризы, кивание, что, де, на Свете пара смотрится лучше, уговоры шёпотом сделать как-нибудь по-особенному, не как у других...

Помимо прочего, наших ботфортов, таких заметных, стало многовато для города. У щеголих неисправимо портилось настроение, когда они (а значит, что и все вокруг!) видели точно такое же на ком-то...

Обстоятельства неумолимо требовали изменить место и способ реализации. И вот с тремя десятками пар, пошитых по ростовке, принятой в торговле, а именно: на две тридцать восьмых и тридцать девятым по одной седьмой и сороковой, — я двинулся в Москву.

Изделия и с точки зрения компактности оказались истинной находкой. При голенище, объёрнутом вокруг тufельной части, они занимали места не больше, чем тапочки, поэтому без труда все тридцать пар поместились в обычной дорожной

сумке.

В Москве по старой, сколь доброй, столь и недоброй памяти наведалься в ГУМ, где по причине сутолоки и неиссякаемости толпы не решился на переговоры. Логика подсказывала, что и в ЦУМе, как и в прочих, известных всей необъятной стране универмагах, ожидает та же история. И я подумал об относительно тихом, чем-то смахивающем на салон или выставку обувном на Горького, в жилом доме, который через Газетный переулок глядит на Центральный телеграф.

Цоколь, отделанный гранитными блоками, которые, несясь вприпрыжку впереди паровоза, приволокли немцы, уверенные, что возьмут Москву. Имперской высоты и тяжести, сталинского вкуса двери. Простор, недостижимость потолков, шик витрин и... молчаливые посланцы провинций в роли покупателей.

У долговязой девицы в жилетке из униформы, свысока поглядывающей на случайно забредшую публику, я спросил о руководстве. Она взвесила меня взглядом постового, а я тем временем на глазок прикинул размер её ноги.

В кабинете обнадёжило, что углы и ниши замурованы стенами и башнями из обувных коробок: здесь думали о наличии товара, об удобстве приторговывать из-под полы, а не о том, как показать себя.

Вскоре появился хозяин — полноватый высокий армянин, немногим старше меня, с коротко остриженной крупной головой и красивыми, на выкате, ленивыми и умными глазами. Он предложил стул в стороне от стола и сам сел напротив.

Я вынул из сумки пакет с ботфортами сорокового размера и спросил, нельзя ли на пару минут пригласить ту девушку из зала.

Внеся на лице вопрос «Чего ещё?!», заметно усиливший привычное выражение неудовольствия, девица остановилась у дверного косяка.

— Примерьте, пожалуйста, — сказал я, разматывая голеннице.

Она покосилась почти брезгливо на сплюсненную в дорожной тесноте кустарную поделку, потом снисходительно причмокнула и сделала два неохотных шага к трюмо в своеобразной здесь — для своих — примерочной. Тут одна из отражающих плоскостей показала мне меня — неузнаваемо обросшего разбойной бородой. Диковатая собственная личина ободряюще уверила, что такого меня не станут водить за нос, а тем

временем девица уже легко проскользнула ногой в мягкое голенище и опешила, как и я под бородой, не узнавая себя в зеркале.

Привстав, я подал пару — она, теперь нетерпеливо попрыгивая, обулась, одну за другой приняла несколько журнальных поз и по-армейски развернулась кругом, чтобы увидеть себя сзади. Затем схватила свободный стул, села, картинно забросив ногу на ногу, и не в силах сдержать себя, опрометчиво забыв о коммерческих интересах шефа, обратила к нему умоляющее лицо.

— Нерик! — промолвила она из мечтательного забытья.

Он в огорчении из-за её непосредственности слегка погрузился, но позволяющее прикрыл веки и движением пухловатой руки отпустил её.

— Тридцать пар в ростовке, — показав на сумку, сказал я, когда мы остались с глазу на глаз. — Забирай по двести!

Он задержал взгляд на сумке, соображая, по чём сможет выставить на продажу, а спросил:

— Это всё?

— Это на пробу. Сладимся — дадим ещё.

— Расчёт? — притворно лениво заглянул он куда-то ниже моих глаз, шпионя у меня в мыслях.

— По Марксу. Товар — деньги.

— Отсрочка? — уточнил он, исподтишка выведывая, не запросил ли я лишку и чем готов поступиться.

— Их разметут за день. Какая отсрочка!

— А если меня с ними заметут? — сказал он, думая, впрочем, о чём-то, связанном с механикой продаж и уже видя выход из некоторых затруднений.

— У тебя своя половина риска, у нас — своя. А отсрочка вводит в искушение однажды сказать: «Извини, попали под облаву...»

Что отсрочки не будет, он знал наперёд, по повадке угадывая человека, предлагающего товар, который не лежит, а бежит, и слушал только, чтобы дать досказать. Потом, ведомый возникшей у него идеей, не связанной с нашим торгом, потянулся к стопе объёмистых коробок, хранящих, по всей видимости, что-то зимнее и мужское. Сняв одну и открыв у себя на коленях, показал, что каждая из полупар, уложенных в валею, упрятана в праздничного вида — из бордового бархата и с вышитым золотыми нитями фирменным знаком — мешочек с удавочкой, уменьшенную копию сумы Санта-Клауса.

— Австрия! — пояснил одним словом и, избавив сказочного вида наволочку от содержимого — тупоносого мужского ботинка на полированном сером, как сталь, мутоне, — передал её мне.

Шитая золотом упаковка приняла в себя безродные наши сапожки, вмиг облагородив так, будто монаршей милостью пожаловала титулом.

— У тебя их много? — спросил я о продукции австрияков.

— Хватает. И у Тиграна найдётся.

— Раздевайте их всех к чертям собачьим! Мало им коробка! Ишь, барство!.. А мы такую алямбу, — погладил я выпуклую шелковистую «фирму», — тиснем на подошве и где-нибудь на отвороте.

— Дело! — одобрил он, изымая из чрева другой стопы затёрханный обувной коробок, который не очень опустел по извлечении из него шести пачек красненьких, причитавшихся мне.

— Когда и сколько? — спросил он, пожимая мою руку.

— Пар сто недельки через три.

— А больше?

— Не потянем.

— А если, пусть и меньше, но побыстрее: сезон — ложка, говорят, к обеду...

— Полста через десять дней.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ И КОЛЮНЯ

Вспоминая, где поблизости можно перекусить, я пошёл вверх по Горького и почти сразу же наткнулся на ресторан. Он открылся за четверть часа до моего появления, зал был пуст, а из горячего имелись в наличии только пельмени. Поевшему последний раз вчера вечером, мне ли было перебирать харчами? Пельмени так пельмени. Ещё, чтобы отметить удачно найденное партнёрство, я попросил селёдки и бутылку «Столичной». Хватило бы и двухсот, но Колюня, знавший ресторанные фокусы изнутри, учил, чтобы не пить мурцовки, заказывать по целой.

Принесённая селёдка так соблазнительно пахла уксусом, маслом, лучком и собой, что я, не дожидаясь пельменей, налил и выпил. Закусывая, так раззадорил аппетит, что налил и налил и прикончил селёдку вместе с двумя поданными ломтиками хлеба.

Под одиночество и скорый первый хмель в душу попросилось больное — то, что у меня ничего не выходит с писанием.

Не получалось и всегда, но прежде, когда учился, было хоть чем оправдываться перед собой.

Я настойчиво изводил бумагу и, зная, что написанное ничёмно, тем не менее, посылал и посылал толстые заказные письма в журналы, из которых с неизменным тактом и лишь иногда с едва-едва уловимой иронией отвечали, указывая на недостатки и несуразности.

Принесли горячее. Выпив под него и заедая пельмешком, я изумился, как вкусно, и с непроизвольным желанием поделиться глянул по сторонам. Официант подумал, что ищут его, и тут же возник откуда-то из-за спины.

— Настоящие! — похвалил я пельмени. — У меня отец сибирик, передайте повару, что это подлинное, это наше!

От искренней похвалы другому настроение посветлело, словно похвалили меня. Под рюмочку, порхнувшую соколом, опустошил тарелку и не успел подумать, не заказать ли ещё, как с выражением праздника на лице из-за портьер, скрывавших ход на кухню, возник официант с подносом, красиво поставленным на прямые пальцы, глубокой тарелкой и парующей горой пельменей над ней.

— Истинному ценителю — от шеф-повара! — сияя, произнёс он и удалился.

Пельменей редко бывает много. Водки — ещё реже.

В ответ на щедрость я не пожадничал с чаевыми и, зная, куда мне, направился к Пушкину. У памятника, до которого рукой было подать, я бывал не однажды, но вечное многолюдье ни разу не позволило постоять человеком, пришедшим именно к нему. И вот в автономии, в самости пьяного, словно в кокон упрятанный от зевак и прохожих, в полной отключке от них...

Я стоял, подняв глаза к его лицу, ни о чём не думая внятно. Во мне гудела жалоба, что-то похожее на родовой наш похмельный стон, легко, однако, переводимое в смысл, примерно такое: «Александр Сергеевич, ещё немного лет, и я буду старше Вас... Что же мне делать? Я ошибся? Я принял за талант свою издёрганную нервную систему? Я полез не в свои сани?..»

— У вас что-то стряслось? — спросили вдруг, возвращая в улицу, на тротуар.

Спрашивал пожилой мужчина в берете, тёмном шёлковом шарфе, одним концом брошенным за спину, и с худым, отжатым, словно вакуумным пакетом, лицом пишущего выпивохи.

— У вас что-то не так? — повторил он участливо.

— Выпил, — пояснил я и, не задумываясь, куда мне, спустился в переход к Тверскому, а там свернул вниз по Никитскому — к дворику перед домом, где умер Гоголь и где редко — чужие. Я знал, что сяду со стороны, где Тарас Бульба, вылепленный с дядюшки Гиляя, и знал, что там, тому Николаю Васильевичу, хуже, чем мне.

Но придя и глянув, дрогнул от того, КАК ему плохо.

— Что же Вам так плохо?.. — вслух простонал я. — Ваше слово в каждом из нас, Николай Васильевич. Что же Вам так плохо? За что это — ВАМ?!

Ночью в купе позвякивали стаканы с чаем, заказанные впрок. Сверху я тянулся за питьём, на время прогоняя похмельную сушь.

Сна не было. Уже под утро привиделся Николай Васильевич, глядящий не в землю, а мне в глаза — жалея меня и пронзительно жалуясь мне, словно старшему и знающему, как помочь.

На выходе из вокзала бомбилы, крутя ключи от машин, манили поживу из потока.

— Володарского! — сказал я первому, делегатом двинутому на стрежень.

— Колюня! — кликнул он. — Володарского! Погонишь?

В прокуренном насквозь «Жигулёнке» Колюни подумалось о Колюне своём, об учителе, который не курил. И вдруг я обнаружил, что знаю почти наизусть, вижу в живых картинках, различая каждое произносимое им словцо, повесть о Колюне, уроженце Хорола, талантливом и гибельно несчастном... тёзке... земляке...

ПОВЕСТЬ О КОЛЮНЕ

Левая нога Колюни тонка, как мёртвый сук. Она не сгибается ни в колене, ни у стопы, и ходит Колюня, как палкой, толкаясь ею от земли. А чаще бегают.

— Меня, — скажет, — сидячие болячки никогда не поймут! — и особым своим скоком убежит к отделочной машине. Вернувшись, легко опустится в плетёное сиденье «стулки» и, не теряя секунд, несущих деньги, — за дело.

Руки у него небывало для сапожника чистые — без ссадин, порезов. Колюня называет их кормилицами и сам себе целует. Спрячет только что заработанное в карман на фартуке,

скажет:

— Рученьки — золотые! — и расцелует: — М-мух! М-мух!

— Учти, — пригнувшись поближе, чтобы не слышали в цехе, говорит он мне, — у кого руки грязные — не мастер, лепило! — и плутовато зыркает на Янчика, сидящего с нами верстак в верстак.

Ролью учителя Колюня упивается, меня подхваливает на каждом шагу.

— Ты не работал раньше? Может, дома, для себя? Нет? Удивительно! Янчик, глянь: крючком с первой попытки — стежок в стежок!

Поощрённый, я убыстряю шитьё. Колюня предупреждающе цокает:

— Шмагать ещё научишься! Ты качество ухвати. Качество, какому с первого дня поклонись, такое на всю жизнь — твоё. На скорую руку нельзя учиться, на скорую, говорят, руку — на долгую муку.

— Ты его меньше слушай, учителя своего! — бросает из угла вечно насупленный дядя Сева. — Первая наша заповедь: стежи реже — деньги те же!

— Тихонечко там, тихонько! — суровеет Колюня. — Себе ученика заведёте — ему и расскажете!

— Колюня прав, — говорит Янчик. — Ты старайся, на нас не смотри. Мы портачи по необходимости, чем ни скорее сляпал — тем оно ближе к рублю.

— А кто бы при такой жизни не халтурил?! — дядя Сева, отворачиваясь и скрипя зубами, срывает подмётку, которая вслед каждому вырванному гвоздю выстреливает пылью и песком.

— Фигня! — утешает его Янчик. — Захмелимся — веселее жизнь пойдёт!

— Ребят! — вошла приёмщица, молодая, пухленькая, с красивыми, слегка навывкате глазами — весёлыми и словно имеющими отражатели против всего, что могло бы устыдить их. — Ребят, у кого эта пара — туфли женские чёрные, подмётки с набойками и со срочностью?

— Чёрные? — пропел Янчик. — Были-были-были-были...

И стал рыться в куче. Нагнулась и она. Янчик, как бы по забывчивости, опустил руку на выпуклость, натянувшую сзади её халат, забормотал, будто вспоминая:

— Постой, постой...

— Да иди ты! — хохотнула она.

Дядя Сева — скупно улыбнувшись:

— В готовой ищи.

— Это серьёзно?

— Я тебе не Янчик. Вчера на полку поставил.

— Ага! — сказала она как «спасибо» и, вильнув, исчезла.

— Ы-ы-ых! — с хрустом потянулся Янчик. Его мясистые губы залоснились в улыбке, а большие пальцы обеих рук — короткие, толстые и чёрные, как печёные картошки, — оттопырились на «во». В цехе повеяло радостью от его распахнуто-счастливого вида.

Вошёл заведующий. Он принимал меня утром с направлением из конторы, и меня удивили его глаза. В них было что-то очень значимое, чего я не замечал ни у кого из знакомых. Пройдут годы, и для меня прояснится: у него был взгляд мужика, забывшего об узде копеечного бюджета.

— Обедаем дома?

— А ты дал на обед? — сощурил красные глаза дядя Сева.

— Рита не носит?

— Носит! Кошачьи слёзы!

— Что есть.

— Расскажи, бродяга! Срочный не отмахивается! — двинул дядя Сева большим пальцем в направлении стены, за которой располагался цех срочного ремонта. Там живою очередью стояли посетители к двум мастерам, которые, как я успел заметить, были в мастерской на особом счету: говорили о них язвительно и с завистью. — А мы тут — на голодном пайке!

— Не болтай, — равнодушно сказал заведующий, — знаешь, что можно — бьём в карман. Так что с обедом? Ученика надо обмыть!

— За меня у Ритки возьми, — дядя Сева раздражённо. — Пусть спишет с моих.

Янчик вынул из кармана смятые в комочки рубли, разгладил их на доске, бугристой от застывших потёков клея.

Я встал, чтобы в раздевалке взять деньги.

— Сиди, — остановил Колюня. — Обед с учителя!

Колючий запашок водки проплыл над столом. Разливали сразу из трёх бутылок, каждый себе, по аппетиту. Янчик щёлкнул по стакану, показывая мне, чтобы наливал, не стеснялся. Я отвернул нос, подумав, что под водку можно многое, но только не учиться.

— Молодец! — сказал рослый и тучноватый мастер, работа-

ющий на срочном. Обращались к нему уважительно — Фёдор Иванович. — Молодец! — повторил Фёдор Иванович, глядя на меня, как на человека, которому по силам нечто такое, чего не может никто из них.

И заведующий глянул с интересом. Плеснув себе один глоток, приветственно коснулся стаканом моего стакана, сказал:

— За тебя. Приживайся у нас!

— А я, — объявил Колюня, — предлагаю выпить за нашего дорогого заведующего. Серёжа, пока ты жив — мы обеспечены!

— Вот проститутка! — восхитился дядя Сева.

— Да, — ответил Колюня с достоинством, — я — проститутка. И горжусь этим!

Осушив стаканы, разом потянулись к еде и заговорили.

— Пятнашку левую ударил до обеда, слышь, Фон-Петя? — цеплял второго срочника дядя Сева.

Фон-Петю от выпитого или от слов дяди Севы злее стал донимать жест-паразит — он то и дело проводил рукой по плоской чёрной причёске, которую рассекал ровный пробор, и двумя пальцами пробегал по шнуручкам усов.

— Лижешься как кот! Сидите, аристократы, леваком давитесь, а мы в цеху — не люди?! — сказав это, дядя Сева отвернулся от Фон-Пети, синюшной рукой притянул к себе меня и, воткнув палец в Колюнин живот, заявил: — Если он не даст тебе два рубля в день — бери за горло! Это та ещё устрица, твой учитель! Я, будет петь, калечка... Начхать! Бабки на бочку!

Янчик говорил Сергею:

— Слухи пошли, что у нас тут золотое дно. Сапожня болтает — перепродает Мефодий нашу халабуду...

— Мефодий? — придвинулся к ним дядя Сева. — Перепродает! На копейку больше дадут — перепродает!

— Ты бы узнал у Сашки, что им надо, — не обращая внимания на дядю Севу, продолжал Янчик. — Она там рядышком...

— Да знаю я! Им наши пятьдесят процентов — как гвоздь в пятке. Ещё бы, во всём городе шестьдесят с сапожника, а у нас — такие вольности... Непорядок!

Сигналя, что перерыв кончился, затарабанили в двери и окно заказчики. Рита, длинно выругавшись, пошла открывать. За нею поднялись Фон-Петя и Фёдор Иванович, выглядевший нетронутым трезвым. Отправился за верстак и я. Но цеховые остались за столом, а без Колюни я не решился братья

за починку и выглянул в приёмную.

Рите не терпелось избавиться от очереди, и квитанции летели из книжки, как перья птицы, которую ощипывают. Сражённые её злой сосредоточенностью клиенты вели себя скромно: просьбы высказывали полушёпотом, от возражений воздерживались. В очереди, поджав босую ногу и держа в руке ботинок с оторванной декоративной перепонкой, стояла девушка.

— Зашей на ходу! — предложила Рита.

Я взял. Но куда подевалась ухватистость, которой я щеголял до обеда? Крючок прыгал, нитка секлась. Я взмок. Вот и Колюня прихромал.

— Дай-ка, — сказал. И в несколько движений закончил дело. — Неси, сорок копеек возьмёшь.

— Спасибо вам! — поднялась девушка. Покраснев, спросила:

— Сколько?

— Сорок, — сказал я небрежно, чтобы не показаться мелочным.

Вынув монетки, она смешалась, не зная, кому отдавать — мне, приёмщице? Протянула мне, а я ссыпал серебрушки в блюдце Рите.

— Нет, тебе! — улыбнулась Рита празднично, как событию в моей жизни.

Я принёс мелочь Колюне. Тот заговорщицки подмигнул, отеснил мою руку.

— Забирай, забирай! Твой первый гонорар!

В конце дня Колюня вынул из своего кармана-кассы рубль.

— Не... — хотел отказаться я.

— Тихонько! У нас, запомни, порядок такой: сам будешь кушать — подавишься.

Колюня вставал с солнышком. Ему, любителю раннего часа, доверены были ключи от мастерской. Я не отставал — уж очень хотелось выучиться поскорей. Подкатит Колюня на такси или на «леваке», а я уже тут как тут — жду у двери. Мы быстро переоденемся и в особом согласии — одни на всю мастерскую — поработаем часа два-полтора.

Колюня по утрам великолепен. Ко всякому делу у него прибаутка, в приёмную на звук шагов вылетает пулей. Парализовав заказчика ядом приветливости, усадит его ожидать, и мы с ним в четыре сноровистых руки мигом выполним необходимый ремонт. Не может клиент подождать — тоже не

страшно.

— Вечерком, — говорит Колюня с намёком на породнившую их отныне тайну. — Спросите Колю...

«Спросить Колю» — пароль, заменяющий квитанцию. «Коля, тебя!» — крикнет вечером приёмщица. Колюня выглянет, узнав клиента, юркнет к одной из своих заначек. Обувь вынесет в фартуке, по-женски подобрав его подол, и заказчика проводит до двери, а то и на улицу — не поленится. Ради денег, прошедших мимо кассы и беспошлинно — мимо зава с приёмщицами, Колюне ничто не лень.

В тонкости «левых номеров» Колюня посвящает меня обстоятельно, будто исполняя самой природой возложенную на него обязанность. Выдать заказ, считает он, как собрать урожай. Конец — всему делу венец.

— Тут я вам прибил, — показывает Колюня три гвоздя на подошве.

Провернув башмак вокруг оси, твердит над теми же гвоздями:

— И тут я вам прибил. А здесь я вам пришил, — берётся Колюня за другой ботинок. — И здесь, и здесь. И тут я вам прибил, — всплывают неразменные гвозди. — С вас рубль девяносто две, — неотразимо улыбаясь, подводит он черту.

— А почему девяносто две? — смеюсь я.

Сделав хитрые, влюблённые в свой талант глаза, Колюня отвечает назидательно:

— Никогда не округляй! Девяносто две — всё равно рубль, зато клиент спокоен: ему посчитали с точностью до двух копеек!

Колюня многое делает для мастерской. По доброй воле, без вознаграждения. И только мне, ученику, доверяет сокровенное:

— Ты общественного не сторонись! Так руки погреть, как на общественном, — чёрта с два где погреешь!

По утрам Колюня на общественных началах делит работу. Пистолетиком приседает у горы принятой накануне обуви, проворно сортирует её, выстраивая колодцами пару поперёк пары.

— Янчику! Дяде Севе! Фёдору Ивановичу! — выкрикивает для меня, а я, едва поспевая за учителем, разношу обувь к верстакам.

— А это — нам... — скажет, сделает невинные глаза и облизнётся. Всегда, поживившись, Колюня облизывается.

Мастера, начиная трудовой день, клянут его последними словами. Колюня выслушивает ругательства, всем своим видом показывая, что и эту ношу готов взвалить на себя: работа, мол, грязна, так пусть хоть душу люди отведут... Но в нужный момент легко окорачивает недовольных:

— Так, кто завтра в шесть приходит работу делить? Решайте, я больше к кучам не притронусь!

Случается, впрочем, всякое. Хронически раздражённый дядя Сева, добравшись однажды до пар, таких красивых и выгодных, что Колюня сунул их в самый низ столбцов, вдруг без предупреждения запустил в Колюню ботинком. И вторым, и ещё, и ещё, и ещё одним. Отстрелявшись, ринулся врукопашную.

Колюня горько восклицал:

— За моё хорошее... За что? Что калечка? Что не ответит? Встаёшь ни свет ни заря, стараешься...

Дядю Севу заставили извиняться, требовали мировую. После второго стакана Колюня сказал, что не сердится, под третий поклялся, что никогда больше не сплутует в делёжке.

Разнося следующим утром стопы обуви, я примечал, что «чистая», выгодная работа уходит к дяде Севе, а нам с Колюней — латки да штопки. Последние три пары Колюня принёс сам, покрыл ими столбики у дяди Севиного верстака. То были развалюхи, которые не то, что в руки брать — на которые смотреть было тошно.

— Опя-ать?! — с порога выкрикнул дядя Сева.

Колюня порохом вспыхнул:

— Пошёл ты знаешь куда!..

— Я тебе пойду, поганка! — кричал дядя Сева. — Опять дерьма накидал — за день три копейки не выбьешь!

— Всё! — лез на рожон Колюня. — Меняемся! Мне дерьмо, тебе — моё золото!

— Ы-ых! — ногою шибанул дядя Сева по колодцам. — Ых! Ых! — пинками отшвыривал обувь от верстака.

Колюня носил ему своё по столбику, но тоже кричал:

— Психический! По тебе дурдом плачет!

Продолжая ругаться, он с моей помощью спаровал разбросанное дядей Севой, вынул наряды, подписал и нанизал их на штырь.

Дядя Сева переделся, удовлетворённо посапывая, стал сортировать работу — что на приклейку, что к шитью... Но вот остановился, наспех копнул глубже, ещё глубже и поднял на

Колюню растерянные глаза.

— Облизывается... — прошептал. И крикнул: — Отдай мою работу!

— А вот видел? — скрутил Колюня кукиш. — Работа разобрана и наряды подписаны!

Потом, закрепляя урок, повторял весь день:

— Ему лучшенькое выберешь — нет, не так! Мания! Как сам мудрит на каждом шагу — думает, и все такие!

ВЕЛИКИЕ МАСТЕРА

Ещё Колюня охотно подменял приёмщиц, но об этом — позже. А делу учил меня ревностно. И не он один — все учили. Ученик был нарасхват.

— Подмётку своди на нет с изнанки, — подсказывал Янчик. — Зачем лицо уродовать?

— Рубец этот — сюда смотри! — нетерпеливо окликал меня дядя Сева, — завтра язык покажет. На клей сажай, будет намертво.

Я схватывал на лету. Раз покажут — у меня пошло.

— Ну и рукастый хлопец! — восхищался Янчик. И тут же: — Не так, нет! Неси — покажу. Отсюда прицелился, прихватил и... обтя-а-агивай!.. Ляжет, как там и была!

Колюня кичился:

— Мой ученик, моя школа! — и ревновал: — Чего бегаешь?! Ишь, великие мастера!

А тут ещё Фёдор Иванович:

— Да нет, это же не так делается!

Камень в Колюнин огород? Он не потерпит!

— Каждая хозяйка варит борщ по-своему! — это Фёдору Ивановичу. А мне: — Кто у тебя учитель?!

— Коля, Коля! — вздохнул Фёдор Иванович. — Попадётся ли ещё такой хлопец — никто не знает. А мы в него — как в копейку. И он кому-нибудь... Или уже никому не нужно, что мы умеем?!

А в другой раз сказал:

— Ты, Коля, обижайся или нет, а я его ещё и новое шить научу.

НАСТЕНЬКА

Подменить приёмщицу? Колюня рад стараться! И чуть приёмщица за порог — в цех, словно из пробойны, устремляется поток «левого».

— Набоекки чистенькие! — на бегу объявляет Колюня. — Кому? Быстро! Сидят, ждут! — И о выданной работе: — Восемьдесят пиши!

А содрал — все знают — не меньше рубля.

Забываясь о настроении тружеников, Колюня заманивает в цех молоденьких заказчиц. Чу — хлопотливый Колюнин голосок:

— Сюда, сюда, прошу вас!..

Ведёт.

— Садитесь! Пожалуйста! — предлагает свою «стулку» и, нацелив сухую ногу мимо верстака, молодцевато падает на корточки, замирает, бесом зыркая на работяг — ни дать ни взять сатир у коленок нимфы.

У девушки вспыхивают пухленькие скулы, розовея, становится прозрачным ушко.

— Что вы... — заслоняется она от опеки.

— Ничего, ничего, ничего! — не слушает её Колюня.

Подобострастно оттопырив мизинцы и не забывая пакостливо зыркать на мастеров, он расстёгивает змейки, разувает клиентку и, не давая маленьким ступням опуститься на пол, держит их в ладони.

Девушка сжимается ещё больше, но в следующую минуту задиристо вскидывает подбородок и распрямляется, надменно глядя на раскорячившегося внизу Колюню. Ножки, только что смущённо поджатые, подчёркнуто спокойно укладываются в его руке. Колюня приходит в восторг, но вскоре начинает озираться, отыскивая предмет, достойный заменить его ладонь. Янчик подаёт газету. Колюня встряхивает её, обдувает, расправляет и только тогда, словно хорошеньких зверушек, выпускает на неё ступни.

— Набокки! — вручает сапоги мне и, огорчённо причмокнув, скоком бежит в приёмную.

— Да-а-ах! — начал Янчик всегдашний разговор. — Если у вас, девушка, будет сын, ни за что не отдавайте его в сапожники!

— Почему? — улыбнулась она, показав остренькие зубки.

— А чуть что — сразу сапожник! Пьяный — как сапожник, ругается — как сапожник!.. Вы что в кино кричите, когда плёнка рвётся?

Она засмеялась, хвостиком выгнув во рту радужный язычок; огоньками вспыхнули веснушки у неё на щеках.

— Это просто поговорка, а настоящие сапожники очень

даже симпатичные!

— Правда?

— Конечно!

Янчик с хрустом распрямил грудь, выкатил маслянистые глаза:

— А не встретиться ли нам... в свободное время?..

— Вас жена не отпустит.

— Жена? С женой надо бороться. Злейшие враги сапожника — жена и сидячая работа. Вас как зовут? Меня — Янчиком.

— Очень приятно! Анастасия.

— Это — Настя?

— Да, Настенька.

— А вы не из нашего славного города!

— Не из вашего. Тут в техникуме учусь. А как вы узнали?

— От нашей услышишь «очень приятно», как же!

Дядя Сева хмыкнул себе в колени:

— Можно и от нашей. Если постараться...

— Готово! — боясь, как бы дядя Сева не сказал ещё чего-нибудь, объявил я.

Настенька ласково:

— Спасибо!

А обувшись, наверное, чтобы проще было мне, спросила с отчуждением:

— Сколько с меня?

— Два билета в кино! — ответил я подслушанной в мастерской формулой.

— Во! — азартно поддержал Янчик. — В самую точку! Я уж — ладно, а вот Димыч... Димыч у нас такой парень...

— А какой? — подхватила Настенька, оставив сухой тон и сделав лукавое личико.

— Любовь за ремонт?.. — вслух задумался дядя Сева, когда она ушла.

— Сами разберёмся! — огрызнулся я.

— А я бы не приучал, — будто отвечая своим мыслям, проговорил дядя Сева. — Кино кино, а бабки на бочку!

В половине шестого я снял фартук. Колюня стеснительно побряхтел, потом, как человек, которому неловко напоминать о долге, заговорил:

— Может, пришла бы — тогда?.. А то ещё не явится, а ты...

Я молча взял веник — отместил от рабочего места. Колюня усовестился:

— И правильно! За этими леваками и жизни не видим. С шести утра не разгибаясь, а кажется — мало! А с другой стороны... Сейчас народ нахлынет, самое время — лови, не зевай!

Я лоскутом мелкого шлифера оттер намыленные руки, переодевшись, посидел в приёмной, вернулся в цех.

— Нету? — спросил Янчик подковыристо. — А пора бы...

Колюня хохотнул, фыркнул и дядя Сева.

— Да-а... — Янчик засопел, обтягивая тонкий каблук.

На обтяжке цвета топленого молока его пальцы отпечатались бурыми пятнами. Но вот дело сделано. Критически оглядев готовый каблук, Янчик дважды смачно плюнул на него и энергично потёр о свою рубаху на груди. Обтяжка, как по волшебству, восстановила цвет. Янчик ясно улыбнулся, отправив каблук на полку, затыкнул снова:

— Да-а...

— Кончайте! — не вытерпел дядя Сева. — Начальник твою девку умыкнул, вон в кабинете прикрылись. Ему что — он к стулке не привязанный!..

Я, не зная, что сделать, посмотрел на Колюню, на Янчика. Колюня потупился, пряча ухмылку:

— Ничего, с начальством поделиться — святое дело!

— Ох и язва ты! — прозвучал из коридора голос Сергея.

— Я — наоборот! — заспешил Колюня. — Я говорю — святое!

— Дим, — отозвал меня Сергей. — Слушай, такой занятный ребёнок...

Мне нечего было ответить.

— У вас с ней планов конкретных нет? Давай здесь посидим! Музыка есть, закуску организуем. Ага? — он вынул деньги. — Слетай к девчатам в «аквариум», бутылку «Украинской», шампанского и на закуску, скажи, Серёга просил его набор.

— Привет! — сказала Настенька с едва заметной виноватцей. — А мы музыку слушаем... — Глаза её рядом с фиолетовыми клипсами казались синими, мерцающими. — Давай помогу! Стол люблю накрывать — ужас!

Она тонко нарезала колбасу и из ломтиков выкладывала на тарелке цветочки, заранее любясь им.

— А ничего, что там работают, а мы тут...

— Нам не помешают, — успокоил Сергей.

— А я бы помешала!

— Да кто бы тебе разрешил там сидеть, когда здесь мероприятие!

— Это входило бы в мои обязанности? — спросила, игриво взглядывая на Сергея.

— И не только это.

— Угу. Вот у вас как...

— Так, мамочка, так. У сапожника вся жизнь в мастерской, всё около работы. Чего тебе налить?

— Отсюда, где перчик плавает.

— Ну, за тебя! — предложил Сергей.

— Нет, за сапожников, у которых вся жизнь в мастерской!

Выпила она легко — как газировку в жару. Двумя пальчиками сняла с тарелки ломтик, положила в рот.

Они, Настенька и Сергей, проигрывали застолье бойко и без запинки, как по заученному сценарию. А я будто не знал своих слов.

— А для Димы ужинать с шефом — обязанность?

— Ребёнок, да ты с колючками!

— Нет, нет, просто я за ясность. Вот, к примеру, я бы, тут работая, не захотела дополнительных обязанностей...

— Мало ли, мамочка, чего мы не хотим!

— Но это же — пользоваться!

— Каждый пользуется, чем может. Ты, например, хорошенькая...

— Резонно!.. — согласилась она и, кажется, удивилась: как же раньше ей это не приходило в голову?

Мастерская непонятно когда и как опустела. Запертый в ней запах клея и кожи плавал по коридору, по приёмной. Настеньке было плохо, Сергей увёл её к воде. Я слышал, как её рвало, как она умывалась. Тоскуя сердцем, различал их неясные голоса и вскочил со стула, услышав:

— Пусти! Проти-ивно!..

Звук её быстрых путаных шагов в коридоре, и вот она ввалилась, повисла на мне. Я подхватил её под голую спину, обмер.

— Посади меня... — простионала.

Вместе мы опустились на плоский диванчик из набора мебели для приёмной.

— Как она? — возник Сергей — бледный, с усталым блес-

ком в глазах.

— Готова. Зачем было раздевать?

— Сама она. Сарафан бережёт. Еле живая, а посмотри, как сложила — шовчик к шовчику. — Сергей присел на корточки, убрал с её лица мокрые волосы. — Уродится же! Столько красоты в одну сявочку!

Я ревниво повернул её к себе, и Сергей, вымученно улыбувшись, встал.

— Упоили девку. Что делать будем? В общагу её такую не подбросишь. Или здесь оставим? Заночуешь с ней?

Он сдвинул диванчики, в головах поставил своё кресло.

— Удобно будет. Проверено.

Я положил Настеньку, укрыл её сарафаном.

— Проводи, — сказал Сергей. — Закрывать не буду, отсюда на задвижку возьмёшь.

— А-а! А-а! — жалобно пристанывала Настенька.

— Дать что-нибудь?

Я погасил свет, присел.

— Дим! — позвала она. — Повесь мой сарафан! Ровненько. Терпеть не могу — мятой...

Я расправил сарафан на спинке кресла, снял с себя рубашку, укрыл её.

— Ложись, — попросила она. — Меня вертит! Закрою глаза — карусель. Подержи меня, будь человеком!

Я вытянулся рядом, голова, как в подушку, ушла в мягкость кресла рядом с её головой. Рукой накрыл её руку.

— М-м! — простонала она признательно. — И умоляю: не приставай, меня нельзя сейчас кантовать...

Насторожило: вся её рука от тёплых пальцев до прохладного плеча — под моей рукой. Ожил бочок Иришки, позвал вслушаться, как он приникает ко мне. И я прикрыл глаза, вслушиваясь. А когда открыл их, было уже светло. Потянулся встать — и замер с напряжённо вытянутой шеей: её щека с огоньками конопушек, и глянцевая ямочка на подбородке, худенькие, в ещё не сошедшем загаре плечи и оттопыренные, как на пружинках, грудки.

Я опустил голову, смотрел на неё — словно подглядывал. Настенька повернулась на бок, свела бровки к переносице и, сморгнув сон, открыла глаза. Они теперь были бледно-бледно-зелёные, черпнувшие цвета у обоев.

— У тебя хамелеоны, не глаза, — шепнул я.

— Знаю, — шёпотом ответила она. — А у тебя — усы. Ты не

брил ещё?

— Брил.

— Можно потрогать? Ха-ха!

— Что?

— Как кисточка.

Очень близко, будто над нами, заворочался в замке ключ. Глаза Настеньки собрались внимательно, потом повеселели:

— Что это?

— Колюня пришёл, учитель мой. А дверь на задвижке.

— Ха-ха! Вставай!

— Не хочу.

— Вставай, надо!

— Нет! Никого не пущу!

Она дурманящее поцеловала меня, дав почувствовать и губы, и язык, и острые зубчики на резцах. И целуя, столкнула с диванчика. Прыгнув на пол, она скользнула в сарафан, тряхнула волосами, провела ладошками по щекам и стала словно только что умытой, причёсанной.

Колюне открыли вместе.

— Деточки мои! — расплылся Колюня.

Настенька, не смутясь, подставила под поцелуй щеку.

— Я провожу, — сказал я Колюне.

ЧЕЛОВЕК РЕДКОЙ ПРОФЕССИИ

Дни в мастерской бежали вприпрыжку. Колюня не давал себе выходных, с ним без выходных работал и я. Так промелькнул месяц, и однажды утром Колюня преградил мне дорогу, жестом регулировщика указывая на новый верстак.

— Конец учению! Что калечка знает, всё тебе открыто!

На верстаке ножи — подарок учителя: короткий с лезвием-топориком — для жёстких набоечных товаров; вытянутый, сделанный из широкого ножовочного полотна — под микропорку; длинный, хищно сверкающий, выточенный канавкой, как опасная бритва, — брусовать мягкий товар.

Дядя Сева вынул из ящика молоток — старой ручной работы, весь матово потемневший и только пяточком светящийся, словно выпуклым зеркалом.

— Кормилец! — произнёс высоко. Поморгав, добавил: — Мне — от бати, а бату учитель наградил за редкий талант. Работай, это счастливый молоток. И смотри, — почти крикнул дядя Сева, — в ящике с инструментом не похорони его когда-нибудь! Дальше передай, в умеющие руки!

Колюня прослезился.

— Сева! Меня, учителя, переплюнуть! И некрасиво это с твоей стороны, а я рад: моему ученику, мне — гордость!

— Вот, — Янчик вручил мне амбус, сапожный утюжок. — Как говорят, сапожник гадит — амбус гладит!

— А я, — сказал Фёдор Иванович, — с прицелом на будущее: колёсико, урезников набор. Для новой пары, отделку навести. Присидишься немного, и возьмусь тебя новому учить. Ты быстро схватишь, а новое — всегда кусок хлеба.

— Святые слова! — подхватил Фон-Петя. — Наше ремесло — капитал. Сапожнику — будь война, будь разруха — ему бы только руки и на чём сидят. Остальное он заработает! Но самое главное в любом деле — успех. И вот...

Он набрал слюны, плюнул на новенькую десятку и прилепил её на верстак.

— На счастье!

— Видал язычников? — смеялся Сергей. — На-ка от нас с девчатами, — опустил мне в карман передника конверт. — А обедать с водочкой не мыльтесь, мужики. Работа пошла, не отмахиваемся. По шабашу Колюня нас сводит, обмоем нового мастера.

Зал был полон. Колюня, сверкая золотыми зубами, подхрамывая, будто танцуя, бросился к метрдотелю — холёной полной женщине, которая поднялась, завидя его, раскрыла объятья.

Оркестр оборвал мелодию, а певица через усилитель игриво пропела:

Коло-коло-колокольчик,

Колокольчик — синий цвет,

Что я, что я натворила —

Полюбила с этих лет!..

Колюня высоко задрал палец, требуя внимания.

Ах, Коля, Николаша,

Полюбила с этих лет!.. —

нежно призналась певица и, как в высоком собрании, объявила:

— Мы рады приветствовать наших дорогих гостей — людей редкой профессии, благодаря которым жители нашего города уверенно стоят на ногах!

А Колюня уже вертелся у оркестрового помоста, целовал певице ручку, в которую снизу, как подклеил, вложил пятёр-

ку. К столу он подошёл в обнимку с плечистой женщиной в расшитой форменной безрукавке. Сам сухонький, невысокий, прижимался к ней, словно брат к старшей сестре.

— Раечка, мы, как всегда, тесным кругом. Посидеть хотим лёгенько — сама знаешь, как угостить. Но сперва познакомься: мой ученик, гордость моя! Сегодня выпущен в мастера.

Я привстал и улыбнулся для официантки. Я был не в себе, уж очень много всего пришлось на один день. Руки выделывали не пойми что — то ломали вилку, а то взялись выдёргивать нитки из скатерти. Я хотел последить за ними, но отвлекла Настенька, восхищённая тем, как нас встретили, как мы, не успев войти, возведены были в центр внимания. Я отвечал ей что-то, а сам счастливо думал, что в поисках места угодил, что называется, в десятку: попал в коллеги к щедрым, всеми уважаемым людям и уже — так скоро! — стал равным среди них!.. За месяц ученичества я погасил многолетние долги за квартиру и свет. Я позабыл о докучливом пересчёте копеек: знал, что приду на работу и через десять минут что-то уже будет в кармане.

Колюня, вспотевший, весь нервно-счастливый, сел рядом.

— Твой учитель, — похвастался, — и здесь работал! На вешалке. Стою это, стою... дурак дураком. Суют мне в лапу пятнадцать копеек, двадцать... Ах, вы ж, думаю, баре занюханые! Чтобы хохол Колюня вас вокруг пальца не обвёл?! Заключение с девушками взаимовыгодный контракт и прячу половину стульев из зала себе под прилавок. Сползается сюда вечером наше воровское дворянство, а стульчики-то — тютю!.. Девочки намёком: спросите на вешалке... А я за умеренную плату — всегда готов! Рублик — стульчик, рублик — стульчик... А попадётся какой вонючий — с калечки что спросишь? У меня тогда ножка подогнута была, на костылях виснул. Это потом восемь операций... А? Конечно, выпьем! Первый тост за меня, за учителя! Дима, сынок, давай выпьем! Настенька, доченька, а с тобой?

— А ей нельзя, — отвёл я нацеленное горлышко.

— Да, — послушно сложила руки Настенька. На этот вечер она взяла себе роль скромницы, её полуопущенные глазки держали под прицелом весь стол, тщеславно подмечая, какое влияние оказывает на мужчин её скромное присутствие. Не действовали её чары только на дядю Севу. Он и к закускам был равнодушен.

— Колюня, — начал он, когда все жевали, — а почему за

тебя первого пили — не за нашего дорогого заведующего?

Сергей глянул вприщур:

— Так дорого обхожусь?

— Эти цыплята! — сказал Янчик, неотмываемыми пальцами ломая расплюснутую птицу. Сказал нарочито — мол, не слышал я, о чём у вас речь, и слышать не желаю. — Перемажешься вечно по самые... Прошу прощения! — галантно поклонился Настеньке.

— А уже и в «Минутке» шестьдесят копеек на левом рубле у сапожника отымать стали!.. — глядя на Колюню, сообщил дядя Сева.

Колюня поперхнулся, кашлянул.

— Я про операции, — тронул меня. — Отсюда, с вешалки, ухожу я в сапожники. И заводится у меня клиент — сам хирург, жена при нём. Одну хитрую работку им делаю, другую — познакомились. Посмотрел он мою ножку, совсем, говорит, исправить не обещаю, но ровной сделаю. Я вцепился — режь, как хочешь!

— Да-а, — с неколебимым злостерпением гнул своё дядя Сева. — Получили бы они у меня шестьдесят процентов! Шестьдесят болячек в кишку!

Фёдор Иванович грустно улыбнулся — как человек, насквозь знающий предмет:

— Они хорошо в школе арифметику учили. У нас на правом процент зарплаты снижается — можно и с левого меньше нам оставить. Всего десять лет прошло, на наших глазах менялось: когда по квитанциям тридцать пять процентов в зарплату шло, с левого нам семьдесят давали; потом зарплату срезали до двадцати пяти — левака пятьдесят; теперь, при девятнадцати зарплатных, и сорока процентам левого радуйся!

— А с каких таких дел нам расценки режут?! — брызгая слюной, закричал дядя Сева. — Лапка, нож, крючок — как сто лет тому работали, так и работаем! Или у нас электромолоток появился?!

Сергей сидел откинувшись, будто смотрел представление. Ранние сединки у него на висках поблескивали весело, как и глаза.

— Молотка для тебя родина не изобретала — она сделала лучше: к тебе, портачу, она выстроила очередь заказчиков. Сядь один и увидишь: к тебе ни одна собака не придёт, на чёрный хлеб не заработаешь.

— Что?! — задохнулся дядя Сева. — Я? Да я контужен за

Родину! У меня с контузии руки пляшут!

— Сева! — Сергей с радушной улыбкой. — Ты пианист, — показал, как у того пляшут руки, — не от контузии, от бухла!

— И что из того?! — разгребая посуду, через стол потянулся к нему дядя Сева. — Что ты за моим горбом будешь лодыря гонять и жрать в три горла?!

Дразня всё той же улыбкой, Сергей:

— Ты имеешь предложить что-то другое? Сева, — улыбка исказилась в ненавидящий оскал, — ты из меня который месяц жилы мотаешь! Чего ты хочешь? Я ТАМ увиливаю от новых процентов как могу. Мы последние в городе. И я сдамся. Для разговора ТАМ у меня нет козырей. Нечем крыть! Что ты хочешь? Чтобы я ТАМ залупился? За две секунды меня вытурят пинком под зад, а вы взамен получите такую вонючку — замучаетесь вынюхивать!

Дядя Сева возвратился на стул, обмяк. Глядя себе в ноги, сказал:

— Мы ещё тебя не отдадим.

— Кого ты не отдашь? — сказал Сергей примирительно. — Завтра заявится комиссия от профсоюза, составит актик, что ты находишься на рабочем месте в нетрезвом состоянии, и меня как несправившегося... Или лучше... Не ты Ритку крутишь побольше в квитанции писать? Она и рисует: кожаную подошву, сверху кожаную подмётку, на неё — подмётку профилактическую... Это называется обсчёт, обвес, обмер. За это меня и её за ушко и на нары.

— Всех не посадят! — дядя Сева — чтобы не смолчать.

— Всех — нет. О тебе, о ветеране, так и вовсе позаботятся. Переведут в цех на фабрику. Там клиенты не шастают, леваки не суют, глядишь, алкоголизм тебя и попустит... А станешь и там глотку драть — тебя лечиться отправят. В элтепешку, знаешь такую?

— Танцевать хочу! — ухватила Янчика, тоже собравшегося было вступить в разговор, Рита.

Янчик поднял с колен салфетку, макнул в неё свой пухлый рот, как полотенцем, вытер руки и, напустив на себя важности, пошёл к оркестру. На обратном пути он на круглом, как мяч, животе внатяжку застегнул пиджак, потряхнул нечёсанными кудрями:

— Семь-сорок, Ритуля!

Фон-Петя огладил усы и сказал Сергею:

— Ты ещё ему напомни (палец в направлении дяди Севы),

что мы вообще-то классовые враги Советской власти. Мы же мелкая буржуазия! — произнёс, опасливо оглянувшись, однако и гордясь названным статусом. И мазнул себя рукой по причёске:

— Позвольте? — пригласил на танец Настеньку, которая с обидой и завистью поглядывала на упорхнувшую Риту.

— Ты слушаешь? — постучал у моей тарелки Колюня. — Уложили меня, сунули в морду противогаз, приспали. А начали ножку кромсать — я возьми и проснись. Переполох! Дозу набросили — у меня ни в одном глазу. Ты, хирург показывает, этим делом не того? Конечно, того! Ещё и как того! Не могу, говорит, оперировать, нельзя без наркоза. Я — режь, ору, не сделаешь ногу прямой — удавлюсь! Размечтался уже, как гуляю с Танюшкой, гуляю — не прячется она со мной за подарки в углу. И танцую с ней — вон, как Янчик...

Оттопырив мизинцы, пожимая плечами, Янчик с весёлым удивлением глядел на свои ноги в вытянутых на коленях штанах, которые подскакивали будто сами собой.

— А чем я хуже?! Умри — подай мне ровную ногу! Вцепился в него, пикну, говорю, — гони со стола!

У Колюни осип голос.

— Хлебнём? — предложил Фёдор Иванович. Колюня кивнул.

— Пристегнули меня — так когда-то коньки пристёгивали, «снегурки», и давай! Разобрали ножку — запросто, вроде это башмак какой-нибудь. Пилой: рры! рры!.. Я и отошёл... Очухался — сделана операция. Сделана! Больно, неудобно, а я — как в раю. Срослось там, сняли гипс. Вижу — не в себе мой доктор. Сбраковал. После второй операции загнило под гипсом. На стол! И опять нелады, и опять... Восемь раз. Восемь!

Колюня взялся за бутылку. Я — осторожно, словно касаясь больного:

— Может, хватит?

— Я сам знаю, когда хватит! — норовисто дёрнулся он. — Это присказка была, ученичок мой дорогой. Главное — вот оно. После каждой разделки полежать надо. Не месяц и не два. В городе у меня никого. Перед больницей собрал пару копеек, но не думал же, что так долго. Доктору к «спасибо», нянечкам — святое, с ребятами гульнуть в палате. Вот и вышли денюжки. Больничные мне платить перестали, с пенсией волокита... Да-а, сколько я в той больнице понял... На всю жизнь!..

— Вот! — ожесточённо потёр Колюня пальцами о палец, —

Вот, что всем от нас нужно! И когда у тебя тетики-метики кончаются, узнаёшь, чего ты стоишь на самом деле. Ни-че-го. Нет, не так! Ничего — это ноль. А ты не ноль, ты минус. Ты минус то, что должен бы, но не отдаёшь за уход. Минус! Обуза! Хуже покойника! Так, Дима, так, сынок. Люди! Лю-ди... Грабь их, где они только тебе попадутся! Хочешь, чтобы любили, в глазки заглядывали — грабь!

Умолкнув, Колюня сразу сник, задремал. Янчик слюняво выцеловывал Риту, сговаривал её уйти.

— Пойдём и мы! — сказала Настенька скучающим голосом. Я показал глазами на учителя.

— Довезёшь его? — спросил Фёдор Иванович. — А я — Севу.

— Не-ет! — оскорблённо вырвал Колюня локоть. — Сам! Я всегда — сам! Калечкам нельзя в чужие руки: подержат, подержат и бросят...

Я взял его крепче.

— Руки прочь от калечки! — вырвался Колюня и, быстро отхромав в сторону, сухой ногой, как провалился, ступил с бордюра в русло проезжей части. Мимо накатом под горку шёл грузовик. Колюня не видел его и, завалясь вперёд, ещё не успев больной ногой коснуться дороги, ахнулся лбом о хлябающий в ходу борт грузовика. Рассыпчатый деревянный треск, потом звук разбившегося о тротуар арбуза — и неподвижно лежащий навзничь Колюня.

Я остолбенел: улица безлюдна, грузовик удирает во все свои лошадиные силы. Опомнившись, склонился над Колюней, услышал мирное дыхание спящего человека.

— Живой! — шепнул для Настеньки.

— Аптека! — сказала Настенька и без паузы, будто тугодуму, прокричала истерически: — Аптека!

И точно — до аптеки рукой подать. Я бережно взял Колюню под плечи, попробовал поднять. Но он почему-то полез из одежды, будто помогая раздеть себя. Ругнувшись и не осторожничая больше, я рывком поднял его на руки и, обмякшего, понёс к светящимся окнам аптеки.

Хмурая дежурная проводила нас к топчану, появилась ватка, смоченная нашатырём...

Очнулся Колюня нескоро. Лежал тихий и с лицом плута, морочащего товарищей, безучастно вдыхал нестерпимый запах. И вдруг сел на топчане — встревоженный и совершенно трезвый:

— Чем это меня?..

Левачащий РАФик довёз нас до Колюниного дома.

— Даром пил! — улыбался Колюня. Золотые зубы зеленова-то отражали неоновый свет, повязка чалмой сидела на голове. — Ни в одном глазу!

— Ключи давай, — сказал я. — Открою мастерскую.

— Что-о? — возмутился Колюня.

— Отлежись! В горячке все храбрые. Ты так шарахнулся головой, когда падал, — я подумал мы её собирать будем по асфальту.

— Голова сапожнику ни к чему, — строго сказал Колюня. — Была бы усидчивая задница. Что-что? Куда вы пойдёте? А от супруги кто меня прикроет, кто заправит, что я на волоске был?

Позвонил Колюня коротко, руку отдёргнул так, словно кнопка жалилась током. И ждал, напряжённо вслушиваясь. За дверью приподняли заслонку на глазке, потом щёлкнули замком, резко, как ружейный затвор, перевели задвижку. Колюня задорно оглянулся, призывая нас быть внимательными. Из-за двери, взятой на цепочку, высунулась рука. Колюня положил в неё десятку — рука исчезла, и дверь освободили.

— Мамочка, — торопливо сказал Колюня в спину женщине, которая, волоча по полу хвостом дорогого халата, уходила в темноту квартиры, — я — представляешь? — в катастрофу угодил!

— С тобой это бывает.

— Нет, ты глянь, как меня оббинтовали!

— Коля, — ответил из мрака раздражённый голос, — ты же знаешь, как мне рано вставать!

Мы с Настенькой попятились. Колюня схватил нас, зашептал:

— Ничего, ничего! Нам основное — хозяйку не трогать...

Зажглось розовое бра, и прихожая стала просторнее. Одна из стен её от пола до потолка занята была мебельной встройкой со множеством дверц, ящичков, задвижных окошек и с большим зеркалом в резном обрамлении.

— Разувайтесь! — возбуждённо шептал Колюня. — Тут тапочки. Сам делал! Надевайте, надевайте! Они из медвежьей шкуры. Шкура полезла — я из целых мест тапки построил. А? Как мысль? Правда, мягкие? Идёмте, поздно, а то бы квартиру показал. Мы — на кухню. Смелей, смелей! — втокнул нас

на алый, из мягких витых нитей ковёр. — Прошу!

Мы сели в белые с алой обивкой кресла.

— А? Как я устроен? Одно слово — ешь, пей и наслаждайся! А?

— В основном супруга старается, — говорил Колюня, открывая холодильник. — Она и заработать, и достать... Билет входной — видели? — её придумка! Пришёл с работы — клади на устройство!

Холодильник недовольно заворчал. С робкой поспешностью Колюня предложил:

— «Пепси» будете? А я — водочки...

Налив, осмотрел свои грязные руки, костюм, в котором лежал на асфальте, и в кресло присел бочком. Выпил жадно. Тут же налил ещё и цедил, глотая медленно и громко. Водка вливалась в него — глаза теряли цвет.

Колюня не говорил больше — елозя ладонью по набрякшим кровью бинтам, сонно постанывал. А сидел всё так же чутко, с приниженной деликатностью испачканного человека, знающего, что ему не место в чистоте.

ПРОВЕРКА

Валентина — приземистая, широкоплечая, с подвижным утиным носом и никогда не глядящими прямо глазами — в момент опасности окружает себя облаком удушающего запаха подмышек.

— Так, — сказал Сергей. — Что у тебя в кассе? Порядок? А почему дрожишь? Садись и спокойно работай.

— Здравствуйте! — вышел он к проверяющим — простой, приветливый. — О! Какая очаровательная проверка!

В приёмной возле кассового аппарата стояли две женщины. Младшая, пухленькая, совсем ещё девчушка, потупилась, потом с вопросом глянула на старшую — судя по отсутствию кольца, незамужнюю, лет тридцати, броскую брюнетку с сочным ртом и глазами, склонными затуманиваться. Приручать следует её, понял Сергей, малышка не в счёт.

— Давайте знакомиться! Я Серёжа.

— Елена Николаевна, — представилась старшая подчёркнуто официально.

— Жанна, — сказала младшая, но подобрала улыбку. — Жаннета Яковлевна.

— Очень приятно! Нет, мне правда приятно! Знаете, какие дамы нас обычно проверяют...

— Это нас мало интересует.

— Да расслабьтесь вы, девочки, будьте собой!

Елена Николаевна глянула на него как на плохого артиста:

— Не надо этого! Мы приехали работать, и давайте не будем заниматься налаживанием отношений.

Сергей сделал вид, что задумался.

— Мне кажется, это непростительная ошибка — делить отношения на рабочие и человеческие.

— Спасибо. Мы примем это к сведению. Но хотелось бы всё-таки заняться делом.

— Пожалуйста! Что мне — помогать вам или не мешать?

— Не мешать.

Елена Николаевна вошла в цех. Её «здравствуйте» прозвучало так: «Да, мне претит эта процедура. Но то, что мне это неприятно, ещё не значит, что я не сделаю всё до конца или остановлюсь перед тем, чтобы устроить неприятность вам».

— Эти туфли, пожалуйста, и наряд к ним! — указала она авторучкой на одну из пар, что подошвами вверх лежали у верстака дяди Сева.

Дядя Сева свёл воспалённые веки:

— Дочка, — сказал натужно, — за показ пар и квитанций мне не платят. Вот бумажки, — снял он с наколки пачку нарядов. — А вот шкрябьё. Ковыряйся!

— Как вы разговариваете?!

— Разговариваю? — с присвистом задышал дядя Сева. — А если я без разговоров турну тебя, чтобы летела, свистела и радовалась?

Удовлетворённо усмехнувшись, Сергей поднялся от стола в кабинете.

— Ты зачем сюда прискакала?! — заходился дядя Сева. — Нервировать рабочего человека?! Кыш от моего верстака! Кыш, я сказал!

— Что... что это значит?.. — заметила Елена Николаевна Сергея.

— Большой человек! — губами, без голоса кричал Сергей из коридора. — Контузия! Инвалид войны!

Выманив её из цеха, под локоток уводя к себе, заговорил с горячим выражением общности их отношения к этим неуравновешенным, отвратительно воспитанным людям, с которыми они вынуждены как-то ладить, ибо других взять негде:

— Я тебе мигаю, мигаю, а ты ноль внимания! Большой человек — понимаешь? На фронте нервы оставил...

— Мне до вашего экзотического контингента нет никакого дела! Я работать приехала!

— Работай! Неужели я против?

Она решительно вернулась в цех, около Колюни, словно сломав себя, присела. С омерзением взяла пахнувший чужими ногами, сильно заношенный ботинок.

— Наряд, пожалуйста!

Из торбы, в каких дети носят в школу сменную обувь, Колюня вытряхнул на верстак наряды. Не стеснённые сумкой, они распушились, куча всходила, как на дрожжах.

— Мы быстренько! — угодливо мигал Колюня. — Какой там номерок? Так, так, — за каждым словом он слюнил пальцы, листал, — ботиночки мужские чёрные... нет, не то... Ага! Нет...

— Прекратите юродствовать!

— Что? — ещё более оглупляя лицо, спросил Колюня.

— Пре-кра-ти-те!

Колюня отдёрнул от нарядов руки и уронил их у груди — так собачонка, выслуживая конфету, держит передние лапки.

— Нет, я до вас доберусь! — прошипела Елена Николаевна и, зло глянув на Жанну, что неприкаянно ходила за ней по пятам, выскочила в приёмную.

— Какая женщина! — проводил её Янчик лоснящимся взглядом.

— Осенняя муха! — бросил Колюня. — Укусит — почешешься!

У стола Валентины за поддня собралась целая гора обуви. В каждой паре — наряд, бери да проверай.

Елена Николаевна выуживала подозрительное, отдавала Жанне. Та принимала обувь двумя пальчиками, несла в кабинет.

«Хорошо, — думал Сергей, — что эта фурия нарвалась на приёмку Валентины, не Риты-бандиты...»

— Вы везде к подмёткам берёте ещё и за обивку, — начала Елена Николаевна в кабинете, — хотя укрепление старой подошвы входит в стоимость подмёток.

«Грамотная!» — ощутил в себе бойцовский азарт Сергей.

— Как может большее входить в меньшее? — спросил он и сделал паузу. — Подмётки стоят восемьдесят копеек, а обивка — девяносто.

— А вы потрудитесь заглянуть в преискурант, там чёрным по белому: входит!

— Леночка, а если не только заглянуть, но и дать себе труд задуматься? Это же явная несуразица.

Жанна смешливо пискнула, отвернулась.

— Не вам, знаете ли, решать, что суразица, а что — не! Ваше дело выполнять. Записывай! — строго приказала Жанне. — Перебор девяносто копеек.

Жанна уткнулась в бумагу.

— Теперь скажите, почему у вас зауживание голенища стоит вдвое дороже, чем по прейскуранту?

— Потому что мы его делаем вдвое лучше, чем предусмотрено этим бездарным документом.

Жанна зажала ладошкой рот.

— Прошу по существу!

— Только по существу! Открываем прейскурант, описание работ. За два с половиной рубля мы должны: подпороть подкладку, ушить сапог по заднему шву, пристрочить подкладку на место и выдать заказчику сапог, который будет похож на этот прейскурант.

— Что-что?

— А то, Леночка, что сапог надо ушивать так, как того нога просит. По заднему шву и по выточке или по заднему и по переднему. Двойная работа — двойная плата.

— Не морочьте мне голову! Я принимала непосредственное участие в составлении этого прейскуранта и прекрасно...

— Ты?! — вскричал Сергей. — Дак тебя-то нам и надо! Скажи на милость, ты хоть что-нибудь петраешь в сапожном деле?

Над выпуклым ярким ртом Елены Николаевны выступила влага.

— Вас это не касается!

— Нет уж, голубушка, кого-кого, а нас это ох как касается! Ты, ни черта не зная о работе, рисуешь на неё цену...

— Прошу не тыкать! Цены научно обоснованы, я не одна их устанавливала, большой коллектив!

— А кто-нибудь из вашего большого коллектива латку на башмак пробовал ставить? Вы из каких соображений в пятнадцать копеек её оценили? Набойки у вас — восемьдесят, латка — пятнадцать, а что быстрее делается — вы спросили у сапожника? Вы подумали, какая чехарда из-за ваших цен начнётся? Пойди по мастерским, попробуй латку поставить или прибить каблук в сапоге без змейки! Тебе чёрт-те чего наговорят, но не возьмут. А уж кто возьмёт, тот и с тебя так возьмёт...

— Вот именно! — закричала, как и Сергей, Елена Николаевна. — Именно такие сигналы и привели нас сюда! Пишут люди: зауживание — пять рублей, каблук прибить — три рубля! Три рубля вместо сорока копеек!

— И вы наострились сапожника к порядку призывать? А на свою галиматью глаза разуть — совести не хватает?

— Вот что, — отрезала Елена Николаевна, — я маленький человек, работаю, где работаю, задания выполняю так, как от меня требуют, и потому претензии ваши не по адресу!

— Мы тоже маленькие люди. И от тебя сейчас зависит, отравлять нам жизнь в отместку за ваше головотяпство или не отравлять.

Елена Николаевна устало опустилась на диванчик.

— Послушайте, Серёжа, обычно нам лебезят, а вы ругаетесь. У вас, наверное, рука где-то высоко?

— Надоело лебезить, Леночка. И виноваты вы больше нашего.

— Серёжа, хва-атит!

— Хватит? Тогда так: собирайте свои бумажки и отправляйтесь в гостиницу. К семи мы за вами заезжаем — я и товарищ.

Старшие танцевали, Жанна с большим знанием дела толковала о линиях и неровностях у меня на ладони.

— Слушай, а как ты делаешь, что у тебя такие чистые руки? — спросила, будто выведывая о заповеди Колюни.

— Я их не пачкаю.

Возникли её ямочки, чуткие ко всему весёлому, и мизинцем, на котором отпечаток пальца проявился под синим пятнышком чернильной пасты, она снова щекочущее повела по линиям и бугоркам, певуче проговаривая их роковые названия и не без веробоязни относясь к пророчествам, оттиснутым на руке.

Краем зрения я видел танцующих наших. В лице и движениях Сергея сквозила ирония. Елена же Николаевна танцевала так, словно в её пластике упрятан был таинственный ритуал, истовое следование которому обещало исполнить нечто заветное.

Я подумал, как они похожи, Елена и Жанка, этой своей убеждённостью, что что-то поставлено над ними — что-то властное над их судьбой.

— Закругляемся? — спросил Сергей у столика.

— Да! — согласилась Елена Николаевна, счастливо отды-
ваясь, и, вся пышущая, прижалась к нему, зашептала что-то.

— Э-э, мамочка, — ответил Сергей. — Ты с меня и телом
хочешь взять!..

Она откачнулась. За долгие две секунды лицо её сделалось
серым:

— А если так: рассчитаться с тобой?

— Если так — не суетись, я тебе прощаю.

Сергей сыграл педалями, и машина, провизгивая покрыш-
ками, выскочила на дорогу, понесла.

— За что ты её так? — спросил я, чувствуя себя подельни-
ком в оскорблении, нанесённом Елене, и досадуя, что слома-
но почти уже сложившееся с Жанкой.

— Достали, Димыч! Так достали — никакого зла не хвата-
ет! Не одни, так другие, не другие, так третьи... И все народ
от нас защищают. От нас с тобой!

СЕРГЕЙ

Наверное потому, что куском своей жизни я шаг в шаг по-
вторил часть жизни его... И ещё, конечно, из-за того, как в
итоге он обошёлся с собой... Но хотелось понять, хотелось пред-
ставить. Влезть в его кожу, побыть им...

Он не достал ещё ключи, а замок уже щёлкнул, мелодично,
как кастаньеты. Только под Сашиной рукой звучит так его
замок.

— Поздновато вы! — не упрекала, радовалась Саша.

Он промолчал. Эта забота капля по капле дисциплинирует
его, заставляя считаться с тем, что его ждут, думают о нём...
О нём ли? Та прикатила интересы трудящихся защищать. А
эта?

Нога об ногу сбросил туфли. В ванной, глядя на Сашу через
зеркало над умывальником, спросил:

— Ты окончательно здесь поселилась?

Подло спросил. И напрягся, зажимая угрызения.

— Ты... Ты свин бесстыжий! И дурак! И ты ещё пожале-
ешь, запомни!

Она шумно собралась, подошла к нему с лицом, исполнен-
ным желанием сказать что-то уничтожающее.

— Только короче! — предупредил Сергей.

— Короче? Там плов на плите. А ты...

Она не хлопнула дверь, сама закрыла её ключом, чтобы не утруждать его. Мучительно вслушиваясь, он проводил её шаги по лестнице, по двору. Налил себе в чашку, выпил. Налил ещё, посмотрел на зеленоватое пузырчатое вино, как бы измеряя, хватит ли его в чашке, чтобы оглушить уставшего, порядочно уже залившего в себя за день человека. Выпил.

Как тяжело поднимать себя по утрам! И сон уже не в сон — с первыми признаками рассвета будит Сергея вошедшая в привычку тревога: всё ли благополучно в мастерской, не нагрянула ли в его отсутствие очередная проверка, не забыта ли на каком-нибудь верстаке включённая плитка?.. Он ворочается с боку на бок; ещё близко дрёма, где-то совсем рядом благодатное забытьё, но сердце гукает испуганно, толчками гонит груз в тяжёлый похмельный затылок. Часам к девяти постель делается булыжной, он садится.

По пути к Вере Павловне не обминёшь Сашу. Вот и приёмная. Не надо вспоминать вчерашнее, извиняться. Лучше так:

— Саш, выхожу из дому — зайчик. Отнеси, говорит, Сашеньке. И даёт вот пакетик жвачки.

— Дурачок! — Саша счастлива. — Старый, а дурачок!

— Сергей? — выглянула Вера Павловна. — Зайди! — сказала строго, а взглядом, как бабочку булавкой, проткнула Сашу.

— Как у тебя проверка? — спросила, усаживаясь у себя.

— Порядок. Акт — вам?

— Давай. Так, так. Ах ты ж, боже ж мой, какой ажур! Дорого обошлось?

— Не так дорого, как противно.

— Что поделаешь. Утешься тем, что проверки делаются для нас, нам в помощь.

— Верочка Павловна, вы это лучше на собрании скажите, хорошо?

Колонковые усики Веры Павловны изогнулись пивявкой.

— Серёжа, кто бы из работяг отдал нам шестьдесят процентов, если бы не проверки? А ты — противно. Чёрная неблагодарность!

— Сдаюсь! — поднял Сергей руки. — Вы, как и всегда, правы, Верочка Павловна. А всё равно противно.

— Перестаёшь мне нравиться! На шестьдесят процентов переходить — тоже противно?

Сергей почувствовал жжение на скулах. В досаде на себя,

что краснеет как мальчишка, сказал сквозь зубы:

— Я меньше других... отчитываюсь?

— Нет. И наше с Иван Мефодичем отношение не зависит оттого — сколько. Ты это знаешь. Но ты калечишь нам рабочих. Во всём городе шестьдесят, а у тебя — пятьдесят. Как это?

Задрезжал телефон.

— Да! — сказала Вера Павловна басом и в нос. — Кто? Здравствуйте! — голос её вдруг утончился, стал проказливым. — Конечно! С удовольствием! Я уже распорядилась. Да. Да! И вам! Всегда рада! До свидания! Обращайтесь, не забывайте нас! — и брезгливо отбросила трубку. — Крохобор! Я к тебе его направила. Сделаешь, что ему там надо, денег не бери, пусть подавится!

НОВОЕ

— Ну и что, что краденое? Да, краденое. И кожа, и машинка эта. Все на краденном учились, на краденном работаем.

— Так, может, не надо?

— Ты не хочешь новому научиться?

— Хочу. А попадёмся — вам же нагорит.

— А за что нам не нагорит? Мы под «нагорит» всю жизнь, как под Богом. Семь бед — один ответ.

Мы запирались в раздевалке. Сергей привёз из дому заготовочную машину, Фёдор Иванович — инструмент. Возились со мной каждый день часа по два, по три. Вдвоём или поодиночке, но неотступно.

Пара за парой выходили у нас со строгой регулярностью: туфли мне, сандалии Фёдору Ивановичу, тоже летнее, но моднее, из каталога — Сергею. А Настеньке моя учёба — манна небесная. Ей — босоножки на шпилечке и на низкой танкетке, и туфли, и ботинки под джинсы. Да всё по снимкам из журнала. Она пропадает в раздевалке, при ней уже и переодеваются, не замечают.

— Муза молодого сапожника! — задирает её Сергей.

— Я и зрелого могу вдохновить!

С получением подарка отношение Настеньки к нашей троице теплеет абсолютно естественно, без всякой заданности с её стороны. Она непритворно обожает нас, когда с неё снимают мерку. И обожание это растёт по мере того, как предназначенная ей пара закраивается, затягивается на колодки, обретает низ. Пик обожания приходится на момент при-

мерки готового. Она весела, заботлива, растрогана, она сама не своя. Потом, и это логично — надо же ей когда-нибудь учиться — Настенька не приходит. А новое её появление — так уж как-то совпадает — случается всегда почти ко времени, когда в нашей подпольной ученичке уже созрела задумка смастерить для неё что-нибудь ещё.

Отдельно со мною выстраивался тот же график. Я не позвал её к себе, стыдясь запущенности своего жилья. А ещё я ждал Нончика. Время улетало неописуемо быстро, и мысль, что за давностью нашего существования поврозь дожидаться её нелепо, ещё не успела возникнуть. При возвращении домой глаза так и высматривали — не пришла ли?

Из-за этого с Настенькой мы, по примеру Янчика и Риты, посещали ванные номера. Из вестибюля бани мы расходились по предписанному: девочки направо, мальчики налево, и, миновав пролёт, оказывались по две стороны сквозного коридора, где и располагались номера. Я отдавал служительнице талончик и три рубля за притупление бдительности. Настенька, отследив, куда я войду, через минуту вручала свой талончик и просачивалась ко мне.

Дверь запиралась изнутри — это снимало нервозность. Из-за белой плитки стен было светло, как в операционной, и, насколько возможно в месте, куда пускают всех, чисто. Сложив и развесив свои вещички в крохотном предбанничке, Настенька принималась окатывать шлифованный топчан из мраморной крошки и отдраивать намыленной мочалкой нутро ванной. Притерпевшись к воздуху помывочной и принесся труды на алтарь брезгливости, Настенька отрешалась от забот, и у меня начинался праздник.

Следует сказать, что на второй день знакомства она назначила мне встречу на старинном городском кладбище, куда глядели окна её общаги и которое с наступлением сумерек шушукалось, секретничало, тихо целовалось, позвякивало в часовенках стеклом бутылок. Усадив на скамью при едва различимой могилке, она с сугубой серьёзностью поставила меня в известность:

— Ты должен знать вот что: я расстанусь с девственностью только с мужем. Если ты даёшь слово меня не трогать, давай дружить, если нет — мы больше не увидимся.

Всё в ней убеждало, что это не кокетство и не способ меня подурочить. Я пожал плечами:

— Дружить так дружить.

И несколько минут мы просидели в молчаливом бездействии.

— Какое-то странное у тебя представление о дружбе... — заметила она наконец с игривым подтруниванием.

— Тебе не угодишь! — отозвался я и уточнил: — А целоваться друзьям можно?

Нарочно переигрывая в застенчивости, она обронила:

— Можно...

И, давая волю насмешливости над тем счастливым, для которого бережёт себя, расширила ответ:

— Можно всё. Всё-всё. Кроме одного единственного.

В ванной я любил намылить её с головы до пят. Мне нравилось, как выскальзывают из-под ладони её настырные, своеобразные грудки. А ей — как я бесконечно натирал и смывал её спину и попку. Ещё она замирала, прислушиваясь к ощущениям, когда ей пальчик за пальчиком мыли ноги.

Когда наступала её очередь заняться мною, я не прихотливничал и не командовал, во всём подчиняясь её рукам. Они могли скрести ноготками в пенной шапке на моей голове, могли забираться в уши, могли меня, беспомощного, с зажмуренными от мыла глазами, таскать за нос. Обворожительно было всё — какую бы шалость ни затеяла она надо мной. К тому же, любое её озорство и всякая её забота были шажками — неспешным, якобы невинным подступом к тому, чего и я не торопил, растягивая томление.

А затем она устремлялась по одной из трёх протоптанных ею дорожек, и выбор делала не она, а настроение, обретенное ею в раздевалке, где я перенимал мастерство Сергея и Фёдора Ивановича, обучаясь в том числе и на поделках, скроенных на неё.

Был путь заботливо-умиротворённый, когда моему изнывающему тёзке доставались лишь её нежные руки — неторопливые и ласковые.

Если работа над обновкой была в разгаре и настроение Настеньки шло на подъём, дорога делалась непредсказуемой, суля головокружительные неожиданности. Она, Настенька, могла вдруг поделиться с тёзкой своей слюной или под бравадный финал вдруг впиться вампирским поцелуем в его основание, заставляя меня палить очередями.

И уж и вовсе Настеньку было не узнать в день обретения подарка. Тёзка получал короткие поцелуи и под звуки умиле-

ния оказывался в её наполненном нежнейшей влагой ротике, который, словно котёнок коготки, прятал куда-то острые зубчики жемчужных резцов и сливался с тёзкой, наполняясь им, будто невероятной вкуснятиной. И всё, что вместе с конвульсиями, отдающими новую жизнь, выплёскивалось из меня, оставалось в ней, как оставался и тёзка — до новых толчков, просящих дубля.

Бывало, при её посиделках у нас я замечал, что я для неё уже что-то полученное — будто ступенька, на которой уже стоят. А следующая ступенька, к которой она только присматривается, — Сергей. Ему адресуются взгляды из-за моего плеча, на него нацелены шуточки, смешки.

А с Фёдор Иванычем она ласкова, как с балующим её родителем.

Фёдор Иванович силён в старинных приёмах: шитая рантовая пара, наборный каблук из кожи.

Меня больше тянет к тому, что умеет Сергей. У того всё по последнему слову — технологично, тонко. Нет картинки в каталоге, которой Сергей не повторил бы в готовой обуви.

— Руки у тебя... — сказал я однажды.

— Руки — да, а приложить негде.

— Как это? — не поверил я.

— А так. Вот Настёна журнал полистает, пальчиком укажет — такое хочу. Пошьют ей?

— Не пошьют. Откуда такие мастера?!

— Мастера? А я? А Фёдор? А тебя выучим? Не может не быть мастеров на то, что нужно людям. Это против природы.

— Но почему же? — с недоумением воскликнули мы с Настенькой в один голос.

— Не дают работать. Обложили ремесло. Фёдор тихо дома постукивал, как у нас смеются, молоток ватой оборачивал, — два года тюрьмы. Он молодец, не кается. Но поймают — опять тюрьма.

Тюрьма?.. Вечное, пришедшее из первых к людям ремесло, ремесло, в которое я успел влюбиться, — вне закона? За что? Зачем?

Мне хотелось сейчас же, не сходя с места, получить ответ, а лучше бы убедиться, что это не так, что Сергей что-то напутал...

— Постой! Постой!

— Стою.

— Но есть же ателье индпошива. Мне, помню, такие штаны из брезента...

— Есть, как не быть. Массовочка по утверждённым образцам. И скорей-скорей левака побольше, балабусу в выходной на базар... Работал я, пробовал. И в лаборатории от облбыта батрачил. Новые модели, выставочные образцы! Ширма. Запраздничать влиятельных дядей и тётей обувать. На дурняк.

Сергей сделал несколько шагов по раздевалке, в которой стало тесно от верстака, от швейной машины на тяжёлом рабочем столе. Махом захлопнул отворённую дверку одёжного шкафчика. Расхлябанно шмякнувшись о предназначенное ей гнездо, дверка с писком, подирающим по нервам, снова раскрылась. Сергей глянул на неё с тоскливым бессилием, отвернулся.

— Неужели некуда больше пойти? — несмело спросила Настенька.

— Есть. Работал я и в центре по подготовке цирковых программ. Это целая история, живая басня с моралью!

Сергей опустился на скрипнувший под ним кожаными шлеями старинный сапожный стул, напомнил:

— Затягивай, клей пересохнет.

Потом, глядя куда-то сквозь вертушку, полную гвоздей, протяжно выдохнул:

— Да-а-ах... Первые недели радовался там, как дурак. Каждая пара с хитринкой — клоуну, канатоходцу. Ко всякой что-то придумываю, отделяю, как игрушечки. Среди цирковых — шорох: «Мастер! Всё может!» Я — в эмпириях! Мастерская нищенская — я отделочный станок свой привёз, машинку вот эту, того прикупил, сего. Денег не считаю, не до денег. Когда смотрю — странные начались перемещения в очереди ко мне. Я артистов обмерял давно, их заказ в плане, а мне команда: отставить! И вокруг начальницы цеха, мамы Иры, настоящая собачья свадьба — духи, цацки заграничные, а меня бутылкой заинтересовывают — что, мол, сапожнику надо? Мало того, как усмотрела мама Ира, что я к работе неравнодушен, — сразу ко мне: построй ей босоножечки.

Не жалко, день, думаю, потеряю, зато меньше нос совать будет. Построил. Понравилось. Построй туфли нужному человеку, нашему директору — ботиночки, его жене — что-нибудь выходное, моему мужу, нашей главбухше... Восторг мой прокис. Посчитал деньги — одни минусы. Пошёл к директору, так, мол, и так, зарплата нужна достойная и компенсировать

затраты, не себе покупаю. Он — самый тебе родной человек! Карандашик взял, рисует мне, вроде маленькому: вот, мол, он, его секретарша, главный инженер, главбух и четыре бухгалтеря, конструкторский отдел двенадцать человек, главный технолог с тремя подчинёнными, юрист, четыре хитрых чело-вечка в снабжении, дедушка кадровик, восемь вахтёров, начальница мама Ира, учётица мама Света, кладовщик, ху-дожники, не упомяну ещё кто... А обрабатывают всю эту бра-тию десять швей и я грешный! Он дальше карандашиком: берём мы за обувь по верхнему пределу — семьдесят рублей за туфельки. Стоимость материала, зарплата управленцев, твоя зарплата — ничего не осталось. Не из чего добавлять. Давай-ка, мол, ты делай потихоньку левое своим клиентам, а мы на это закроем глаза. Добрый дядя! Захотел — закрыл глаза, за-хотел — открыл. Я у него на крючке, зарплаты мне не надо, и делать им ничего не надо. Идиллия! Беру я бумажку и тем же карандашиком рисую. Предположим, говорю, что всех вас от директора до вахтёра вывели за ухо из этого светлого здания и строго-настрого запретили сюда ходить. Здание отдали лю-дям под жильё, оставили только швейную мастерскую и мою конурку. Семьдесят рублей драть с государства за босоножки для артиста я не буду, нет. Мне хватит тридцати — и на ма-териалы, и на зарплату себе. И ещё с этих тридцати — рублей двести налога отдам в месяц. А? Вариант? И никаких лева-ков!

— А он? — загорелись мы с Настенькой.

— Он погрузил вместе со мной, что этого никогда не бу-дет. Понимаете, он так уверен, что этого никогда не будет, что способен искренне сожалеть, что дармоедов, как он, ни-когда не погонят от кормушек!

Фёдор Иванович хмыкнул, сказал:

— Ты, оказывается, почище нашего Севы! Только беда не в том, что этого никогда не будет. Беда в том, что это уже было.

— Было?

— Конечно. Всё слово в слово, как ты расписал, батя мой на собственной шкуре проверил при НЭПе. Те же яйца, толь-ко в профиль. Вместо тех, кого ты перечислял, пальцы заги-бая, явились не запылились другие. Фины, пожарные, сани-тарные... И комовцы, и участковые, и с красными погонами, и с фиолетовыми... Сожрали — не подавились. И до револю-ции та же была песня. Испокон и вовеки: один с сошкой, семеро с ложкой. Моя бабушка по маме была купчиха и отца

презирала. И когда он начинал кичиться, что он де своими руками, она отвечала одно и то же: своими руками можно заработать только доски на гроб.

СРОЧНИК

Изо дня в день рискуя свободой и тратя на меня время, и Сергей, и Фёдор Иванович вели себя так, словно без отдачи брали у меня в долг. И будто бы именно поэтому, не переставая, искали случая сделать мне что-то доброе — как бы отплатить.

— Срочника бы третьего... — сказал как-то Фёдор Иванович Сергею. — Сезон накатит — захлебнётся.

Лицо у Сергея стало хитрым, и Фёдор Иванович открылся:

— Ну да, Димыча. Пересади́л бы к нам...

Я испугался.

— А в цеху что скажут?

— Твоё дело маленькое, приказали — ты пересел.

— Ага, приказали! Они асы, семьи у них, а срочный — мне. Красиво!

— А если... — заговорил Фёдор Иванович Сергею на ухо.

И срочником стал Колюня, а меня подсадили к нему стажироваться.

— Как работаем? — сразу уточнил Колюня. — На одну руку?

— На одну! — просиял я, зная, что с Колюней не пропадёшь.

Цех провожал нас завистливым молчанием.

— Такие вы? — остановился Колюня. — Думаете, ухватил калечка деньгу за хвост — своих знать перестал?

На срочном первое, что он сделал, — это набрал заказов, сложил их колодцем и вприскок убежал в цех. Получив за работу с клиентов, украдкой, для одного меня, облизнулся.

— Жизнь идёт, катится, — завелась у него новая мудрость, — кто не хапнул, когда мог, поздно схватится!

Колюня всё помнит, всё успевает — и поработать не меньше меня, и сбегать в цех, и выдать заказы. А ещё — слетать в раздевалку. Там, в шкафчике, припасена у него «Пшеничная». Вернётся Колюня из раздевалки, оближется, захмелеет. Но скоро отойдёт. А сбегав снова, захмелеет глубже. И чем сильнее он пьян, тем предупредительнее к заказчику и невоздержанней в ценах. Починенное у него утром за пятьдесят копеек после обеда можно не привести в порядок и за три

рубля.

Надвинулся март, время пик, когда люди вспоминают о весенней обуви и, как по команде, все разом несут её в починку. Весело тогда в мастерских! В каждом закутке — свалка вышиною по пояс, по колено, а в ней, будто бомжи на помойке, рожутся озлобленные, по горло сытые враньём приёмщиц и завов заказчики. Случается, что они находят своё и вскоре даже забирают его отремонтированным. Но в какой же неразберихе остаётся после них то, что остаётся!..

И этот март начался половодьем заказов. Бум как бум. А мастерская работает себе, и словно бы даже впроголодь. А всё — Колюня. Темп и темп! Вот я злым движением сорвал набойку. Колюня в мгновение ока прикрепил новую, я способом, позаимствованным у Янчика, в одно касание обрезал её, да так чисто, что нечего подправлять на шлифере. Готово! Слепящая Колюнина улыбка — и раздутый карман проглатывает деньги. Следующий!

С такими соседями не озябнешь, работая. Фёдор Иванович и Фон-Петя забыли о перекурах. Болезненно завистливый Фон-Петя в суете терял собственный молоток, чертыхался, дёргался, будто его донимали комары. А Колюня у него из-под носа брал от заказчиков обувь, скоком уносился в цех.

— Набоек! Чистенькие! — кричал ещё издали. — Кому? Подмётки с набойками! Три рубля и двадцать минут времени! Кто? Быстро! Быстро!

Готовое из цеха не выносят — выбрасывают, берегут секунды. Поднимать вскакиваю я. Подниму, отдам Колюне, у того улыбка, как фотовспышка по глазам клиента, — деньги в кармане. Следующий!

Пить — тоже на бегу. Из-за трудностей, связанных с борьбой за трезвость, спиртное набирают в запас. Но запас — он же и соблазн. Расчётный недельный рацион иссякает в три дня. Янчик и дядя Сева раздеты до маек, пот вытирают замурзанными полотенцами. Грохочут молотки, в сторону от быстрых ножей летят обрезки. Дядя Сева, теряя силы, тянется к бутылке, что припрятана здесь же, за верстаком. Глотнёт — и очертя голову в работу. Бутылка — работа! Бутылка — работа! К концу дня наглотается до помутнения ума. Однажды полуголый, весь в поту, с белёсой слюной в углах рта, он ввалился к сročникам.

— Колюня-а-а! — заорал дико и жестом завоевателя бросил пьяную руку в сторону очереди. — Гр-рабь их, козлов!!!

Очередь дрогнула. Дядя Сева шагнул на неё с выпученными малиновыми глазами:

— Грабь, я сказал! Всех!

Фёдор Иванович, за ним я, Колюня взялись выталкивать его. Он сипел, рыча, хватался за отделочный комбайн.

— А я сказа-ал!!! Всех без разбора! Всех-х-ы-ы-гы!!!

— Да, водку не обманешь! — мудрствовал потом Колюня. За полдень он тоже начинал сдавать. Иной раз изящно складывал ладони на лапку, ронял на них голову. Со своей вытянутой в струнку ногой напоминал тогда умирающего лебедя. Так и говорил: «Ухожу в лебедя!»

Подремав минут десять, распрямляясь, бодрым голосом спрашивал у ближнего в очереди:

— Что у вас?

И улыбался свежими глазами. Улыбался разнообразно. Ассортимент улыбок у Колюни неисчерпаем, поскольку сам он — изодранный психолог. Клиента «с душком» распознаёт с пронизательностью рентгена. И начинает лавировать. Изворачивается, как может, только бы клиент этот достался не нам или, упаси Господи, не пришлось бы перебрасывать его обувь в цех. Фон-Петя на плутовство ответил плутовством. Совсем, кажется, проигравший, носом к носу сведённый с «вонючим», он мог подняться и, галантно извинясь, отбыть в уборную. Битый несколько раз кряду, Колюня напрягся и изобрёл противоядие.

— Вы не очень торопитесь? — благожелательно спросил даму с брезгливо подобранными губами. — Нет? Тогда я вам советую дождаться мастера, который вышел. Лучше него этой работы никто не сделает. Никто! Как вы говорите — не возьмётся? Да, у него такая клиентура... Но вы вот что — вы скажите, что пришли от Ларисы Зиновьевны. И что никому другому не доверите этого заказа. Он это любит.

Через несколько минут Фон-Петя выслушивал лесть заказчицы, свысока поглядывая на коллег. Колюня скромно потупил взор: всё, Фон-Петя бит.

Зазвучало заговорщицкое: «От Ирины Марковны, от Ильи Борисовича»... Колюня и подсунил ему десятка полтора заказчиков, не больше. Но эти привели своих знакомых, те — своих. В считанные дни Фон-Петя обрёл громкую популярность. К нему стала выстраиваться отдельная очередёнка, как на подбор состоящая из многоречивых, дотошных к качеству и прижимистых в оплате клиентов, которые со второго, третье-

го появления в мастерской начинают комызиться, спекулируя уже на своём постоянстве.

В юности Фон-Петя окончил консерваторию, но певческая карьера не задалась, и вот теперь, сидя на сапожной «стулке», Фон-Петя и внешностью, и манерами подчёркивает, что он не просто сапожник. Воспитанность — его конёк. Но её необходимо демонстрировать, а на это уходит время — то самое время, за которое рядом сидящие обгоняют его в рублях... Вот почему так издёрган Фон-Петя и почему в его приветливости всегда проглядывают настроения садиста.

— Петенька! — задушевно проливается сверху, от стойки. — Как здоровье? Как детки? Как супруга? Дай вам Бог, дай Бог! А я привёл к вам родственника. Представляете, у него нигде не взяли в починку детские топы, пинеточки. А я говорю — Петенька сделает. Никто не сделал, а он сделает! Петенька, тут два раза шильцем кольнуть, подошвка — видите? — кашки запросила...

— Хм, — с видом искренне желающего помочь задумывается Фон-Петя. — А нитку куда спрячем? Не спрячем — два шага — и нет её.

— А если сверху потом подмёточку тоненькую?

— Пожалуй, — коварно соглашается Фон-Петя. — Сдавайте приёмщице, вам сделают.

— А вы, Петенька?

— На срочном подмётки не делаются.

— Что вы, мы не можем вам изменять! Бог с ней, с подмёточкой, ребёнку по комнате топать.

Фон-Петя, сопя, взялся за крючок. Мясистые пальцы с трудом забираются в крошечный башмачок, он искололся, словно ученик, и не хочет замечать, что верх башмачка давно полез по всем швам — речи о том не было, авось и не будет.

— Огромное спасибо, Петенька! Вот что значит мастер! Петенька, а нельзя ещё и здесь уколоть разика два-три? Остальное уж ладно, а тут — ножка выпадает.

Фон-Петя сопит уже с подсвистом: Колюня получил с четвёртого человека, а у него — разговоры да работа, за которую рубля не дадут. Зашил. Выдал. Любезный старичок вертит пинетку в руках, выщипывает из разлезшихся швов старые нитки...

— Понимаете, — в упреждение новой просьбы сам просительно говорит Фон-Петя. — Нет смысла возиться, подошва

всё равно сразу отпадёт.

— Да-да, вы такой специалист, вы, конечно, правы. Но, может быть, ещё вот этот шовчик?

Фон-Петя внимательно посмотрел на старичка, но, решив, что сделать проще, чем препираться, снова взялся за крючок. И пришил. И твёрдо выставил на стойку. А старичок не уходит. Просить ему неудобно, но ведь Петенька воспитанный человек, он поймёт...

О, Фон-Петя прекрасно его понимает! Потому так демонстративно обращается к другому заказчику. Старичок посторонился, но не затем, чтобы уйти. Нет, он подождёт, когда мастер освободится, ему не к спеху...

Одно присутствие сладкоречивого старикана вызывает у Фон-Пети дрожь в руках.

— Ых! — вскрикивает он, вгорячах отхватив ножом лишнего от набойки. Вскрикнул так, словно сам порезался.

— Что-о? — ядовито обеспокоился Колюня.

— Иди ты!

Колюня присмотрелся как к испытуемому:

— Готов! — сообщил мне.

— Не смей! — закричал Фон-Петя. — Не смей обо мне!

— Что вы себе позволяете?! — напустился на Колюню и старичок. — Петенька, — стал утешать любимца, — не обращайтесь внимания, завистников в каждом деле хватает! Лучше скажите, не подметать ли нам ещё и в этом местечке?

— Вон! — прошептал Фон-Петя. — Во-о-он! — заорал он баритоном, на постановку которого ушли консерваторские годы. — Во-о-он! — кричал и не мог остановиться.

Но соперничество соперничеством, козни кознями, а рассориться нам никак нельзя. Мы — срочники, и в конце каждой смены должны решать, сколько отдадим Сергею.

Фон-Петя тих, сейчас попросит:

— Хлопцы, не подставляйте меня перед Серёгой, не кидайте ему много! Двадцать четыре с мелочью — что я ему выделю? Рублей девять? Или восемь? А семь — не мало?..

Фёдор Иванович:

— Тридцать один у меня. Для ровного счёта одиннадцать отдам.

Я обязан помалкивать, Колюня лучше знает, как соврать сегодня.

— Смотри-ка, — с восхищением скажет Колюня Фёдору Ивановичу, — рубль в рубль с тобой идём! Но мы с двоих —

четвертак Серому. И в цех я таскал, оттуда Серёге — пятнашка.

И оттуда Сергею полагалась бы отнюдь не «пятнашка», но никто по доброй воле не отдаст, как договорено. Знает это Сергей, знаем мы. Однако сохраняется видимость доверия, «деловой» порядочности. Мне эта порядочность далась не сразу.

— Не в жилу оно как-то... — заикнулся я было. — Какая-то честность должна же быть.

— Что-что-о? — наперёд непримиримо отозвался Колюня.

— Вы как хотите, а я своё честно отдам.

— Какое — своё? — уточнил Колюня. — А моё — как?

— Твоё дело!

— Моё? А не наше? Ты принесёшь два червонца, а мы — по дешке? Ты, выходит, такой великий мастер, что вдвое больше нашего выбиваешь?

Фон-Петя ударил по самому слабому:

— Ты не подсадной?

— Вот что, — обнял меня Фёдор Иванович, — держись-ка ты своих. Пока ты с нами — мы тебе свои. Пересядешь в Серёгин кабинет — другие свои заведутся.

КОЛЯ ПЛАЧЕТ В РАЗДЕВАЛКЕ

Настенька одним взглядом согнала с мягкого стула-вертушки парня в стойотрядовской штормовке, забралась на стул коленками, сказала напевно:

— Здравствуйте!

Расцвёл, приосанился Фон-Петя, оправил причёску, усы. Не умеющий подмигивать Фёдор Иванович, приветствуя её, радостно зажмурил оба глаза. И Колюня оторвал голову от лапки и даже приоткрыл глаза, цвет которых начисто выполоскало выпитым.

— Доченька! — выговорил он клейкими губами и опять ушёл «в лебеда». Четвёртый день Колюня пьёт как не в себя. Слово боится протрезветь, ни на минуту не даёт себе опомниться.

Будто бы для удобства Настенька развела в стороны борта розового пиджака со вздутыми плечами, прогнулась, показывая себя под прозрачной маечкой.

«Ну не зараза?!» — подумал я, поёживаясь от ревности и, озлоблённо косясь на Настеньку, спросил у девушки из очереди:

— Что вы... — я не запнулся, заминка произошла в сознании, а голос договорил — ... хотели?

Мне подавала свои порядком заношенные туфли Ирка Загурская, первая мучительная неразделённая любовь. Она улыбнулась, но то был рефлекс на увиденное знакомое лицо. В глазах — оторопь и смущение. Снятые с ноги туфли не всегда ловко подать сапожнику, но если им к тому же окажется вдруг одноклассник...

— Так что вы хотели, девушка? — повторил я уже шутливо.

— Набоекки, — чужим голосом выговорила Ирка.

— Это можно! — мигнул я, подбадривая её.

Каблуки стесались глубоко, я встал к машине — подровнять. Пластмасса не стачивалась — вязла, текла. Рыхлый наплав, повиснув на крокуле, бился у меня под пальцем. И секунды текли вязко. Новое, липкое чувство прицепилось ко мне. Неужели я стыжусь своей работы? Почему? Мне же так хорошо здесь. Но эта неловкость, с которой не может справиться Ирка... «Чистюля...» — ощутил я тяжёлую неприязнь к ней, а заодно и к себе за то, что околачиваюсь у станка, никак не наберусь храбрости снова посмотреть Ирке в глаза.

— Там что-нибудь осталось от каблуков? — уже освоившись, встретила меня Ирка, поигрывая лисьими глазками.

— Кое-что, — улыбнулся и я. Подмазывая клеем обтяжку, крокуль, спросил:

— Ты где сейчас?

— В медицинском. А ты? — спросила она по инерции.

Настенька придирчиво осмотрела её лицо.

— Я — здесь.

— Димыч! — вышел Сергей, всегда угадывающий Настенькино появление. — Будь другом, признайся, где ты берёшь таких девушек?!

С явным желанием ничего не оставить от комплимента Ирке, Настенька потянулась, показывая себя ещё отчаяннее:

— Там же, где и вы, товарищ заведующий!

Зарывшись носом ей в волосы, Сергей зашептал что-то. Она, как переводчица, разглашала фразу за фразой:

— Дим, нас в сауну приглашают. Говорят — мягкая мебель, видушка... Что? Что-что?...

Ирка, чтобы показать свою непричастность, открыла сумочку, что-то искала в ней.

— Порядок! — выставил я её туфли.

— Сколько с меня? — ох и старательно готовилась она к этому вопросу!

— Совсем с ума сошла!

— Дим, в сауну — в воскресенье. Как мы в воскресенье?
— Слушай, работа есть работа, — говорила Ирка. — Не ставь меня в неловкое положение!

— Да перестань ты!

— Хорошо, перестану. Спасибо тебе!

— Эт другое дело.

— Но если так, я с ремонтом к тебе больше не приду.

— Ну и напрасно! — сказал я, хотя знал, что буду ей благодарен, если она не станет ходить сюда.

— Опаздываю! — соврала Ирка.

— Ага, — отпустил я её. — Заходи!

Настенька проводила её долгим взглядом:

— Что за крыса?

— Сама ты крыса! Одноклассница моя.

— А-а... Ну, пусть живёт.

Колюня медленно, словно мешок с чем-то тяжёлым и сыпучим, стал заваливаться на бок. Я поймал его за рубаху:

— Пойдём в раздевалку, проспирься!

Колюня, держась за деревянную рамку стула, чтобы не свалиться, обиженно засопел. Потом согнулся, нашарил под верстаком лаковый сапожок, в котором нужно было сменить застёжку. Тыкаясь ножом в нитки шва, он время от времени ронял голову. Я отнял сапожок, сам выпорол «молнию». Колюня тарачил на меня бесцветные глаза и издавал металлический писк зубами. И вдруг, внезапно вскочив, подхватил сапожок, раскачиваясь, чуть не падая, отбежал к рукавной машине. Там встрочил змейку, вернулся, мешковато бухнулся в стул и остался сидеть, вода пальцем по пухлым волнам, в которые стянуло лак косо вшитой застёжкой.

— Справился? — бросил я.

Колюня пискнул зубами, снял с плитки раскалённый амбус, нацелился на морщины.

— Э! — остерегающе окликнул его я.

Колюня повернул к себе амбус, мелко поплевал. Брызги взрывались облачками пара.

— М-м, — произнёс Колюня в мою сторону, что значило: видишь, всё в норме. И, скалясь от усилия, припёк одну из складок. Лак фыркнул белым дымом — Колюня отдернул руку. Хмель исчез из его глаз так же быстро, как растворился в воздухе дымок от лаковой плёнки.

— Капец? — спросил я.

Колюня утвердительно уронил голову. Потом вскинулся,

крикнул:

— За что на меня все несчастья? За что?!

И швырнув сапожок в угол, где стояла отделочная машина, тяжело ухромал в глубь мастерской.

— Всё видела? — сказал Сергей Настеньке. — Долго тут проживёшь, если не расслабляться? В сауну, и никаких!

Вскоре ко мне подошла Рита, шепнула:

— Коля плачет в раздевалке. Так плачет — я подойти боюсь.

— Коля! Коль! — окликал я. — Брось! Было бы из-за чего! Вернём хозяйке деньги и все дела!

Колюня рыдал, вжимаясь лицом в салатную занавеску, о которую Янчик иногда вытирал в перерыв неумытые руки.

— За что? — крикнул он через пыльную ткань. — Что я ей сделал?

— Коль, да брось ты!

— Не могу её бросить! Сына бросить — да? Квартиру, что нажито бросить? За что она выживает меня? Что я за проклятый такой, никому не нужный!

Согнутая спина Колюни вздрагивала, дышали под бумазейной рубашой худые лопатки, а в шею впивалась брезентовая шлея фартука, и казалось, что как раз на ней подвешен груз, согнувший Колюню.

Заплаканный, он повернулся ко мне.

— Ну был ненужный — и сказала бы сразу. Так нет, выдаивала! Вкалываешь, выходных не видишь — ради семьи, чтобы и дом, и в доме... За что, Дим? Или я не человек уже совсем? Скажи!

Он ступенчато всхлипнул, по-ребячьи утёрся кулаками.

— Годами готовилась! Квартира её, деньги все — у мамочки. Ты, мол, воруеть, у мамы надёжнее... А сын? А как мне жить? Могу, говорит, дать тысячу отступного, чтобы вещи не делить. Ну?

— Коль, перемелется! У тебя невесты такие — в магазине, в парикмахерской! Ещё как женим тебя! Избавился — радуйся! Рук у тебя никто не заберёт, а с твоими руками...

— Хе-хе-хе... — прерывисто протянул Колюня. — Заработать можно. Но надо же знать, для кого. А так... Зачем? На пропой?

— Кончай! Найдётся, для кого. Пойдём, заказчица разутая сидит. А на эти, на припаленные, пару дней поработаем — отдадим.

— Отдадим? — насторожился Колюня. — Не сразу. Она ещё походить должна: которая много ходит, меньше хочет...

ФАРФОРОВЫЕ КОЛЕНКИ

В автобусе, двумя руками держась за поручень над сплошным диваном задних мест, я любил побороться, встречая спящую вес переполненного салона.

Глаза глядели вниз, куда-то сквозь людей, сидящих передо мной.

Когда на подъёме с зубчатым переключателем врубилась пониженная и взвыл двигатель, упрятанный под задними креслами, салон улёгся на меня с окончательной беспечностью. Понадобилось упереться ногами, и я услышал, что коленом нажимаю на чьё-то колено.

Увидел девушку и подумал — как эти девчонки всегда умудряются обогнать настоящее тепло! Подумал, к удивлению для себя самого, сварливо. Настроение было не из лучших: беда Колюни, и Настенька лишь заглянула мимоходом, по пути на чей-то день рождения. Полуголая, и там у неё кто-то. А если пока и нет, то отыщется, уж будьте уверены!

Девушка была в короткой юбке, а колени, которые я потревожил, были белы и полупрозрачны. «Фарфоровые!» — вмиг расставшись со сварливостью, воскликнул я мысленно. Головка на необыкновенно высокой, тоже фарфоровой шее была полуопущена, показывая мне лишь ровненько подвитой локон её каштановой чёлки.

До чёртиков захотелось созорничать, и я ещё раз, будто случайно, потрогал коленом её коленку. Ничем не показав виду, она всё поняла.

С нею я проехал две лишних остановки, и когда она сделала движение, чтобы встать, первым ступил к выходу и снизу, быстрой, как искорка, мыслью вспомнив, как было с Нончиком, подал руку.

Всё ещё не поднимая лица, она, улыбнувшись, приняла её.

Не помню первых слов. Это было что-то ничего не значащее, но как жаль, что не помню!

Зато вижу её глаза, обманно показавшиеся огромными. Обманывала подрисовка, делавшая их раскосыми и большими.

Ещё запомнилось, как на моё предложение познакомиться она с некоторым недоумением — мол, что это ты? — сказала:

— А я тебя знаю.

После, когда разговорились, смеялась:

— Но у нас же все всех знают! Это ты такой — сам в себе.

Ещё через какое-то время в нашем увлечённом друг другом, скачущем с пятого на десятое разговоре... Или это было не в этот день? Эх, память, память... Но она сказала:

— Я помню, как хоронили твоего папу. Мой папа тоже военный, и мы шли вместе со всеми. У тебя была такая круглая мутоновая детская ушанка, ты нёс её в руке, а тебя ругали, чтобы надел.

Я рассказывал смешное о своих учителях-сапожниках, заочно познакомив её со всеми. Мы договорились, что завтра пойдём слушать цыган — вышел фильм с песнями Сличенко. Удобно было, чтобы она зашла за мной в мастерскую.

ВОТ НА КОМ НАДО ЖЕНИТЬСЯ!

— Вырастешь — станешь мастером, как папа? — интересовался Сергей.

— Не-е! — отвечал за сына Колюня. — Он — в математики.

— Напрасно. Математиков и без него девать некуда.

— Не-е, он папкиного ума, только в математики. Правда, сынок? — притискивал Колюня сына к себе, сидящему за верстаком. Они были трогательно похожи: лобасты, русы, с неотличимо одинаковыми светлыми глазами.

— Вылитый, а? — любил прихвастнуть Колюня. — Мастер — он во всём мастер!

Мальчишка задерживался недолго. После первой нежности набычивался и, стеснённый, поглядывал в сторону выхода, не по-детски (Колюня говорил — мамочкины выхватки) подбирая губы, морща чистое переносье и нехорошо пряча глаза — как пойманный на лжи.

— Пора? — пытался поймать его взгляд Колюня. — И правильно, и беги. Пусть не знают. Не скажешь им? Нет?

И заранее заготовленную, сложенную в квадратик десятку совал в карман форменной школьной курточки. Мальчишка скашивал глаза, проверяя, сколько дадено, и, нахмуренно вытерпев прощальную ласку, косолапенько убегал, топя новыми ботинками.

Колюня свиданничал, и я не мог не закончить ремонт разутой заказчицы. Время поджимало, но я подумал, что так уж, минута в минуту, не придёт, управлюсь. Но пришла она минута в минуту. Глядя на меня, а улыбаясь всем и всех по моим рассказам узнавая, поздоровалась. Планируя, как её

встречу, я рассчитывал собраться заранее, чтобы Сергей с его панибратским балагурством со всякой встречной и двусмысленным юморком... Но она вошла, доверчиво посмотрела на всех, но и ни на кого, кроме меня, и моих опасений как не бывало. Ничего присоленного никто не скажет, нет! А Колюне и в голову не пришло бы тянуть её, как Настеньку, в цех, похабненько ползать у её ног...

— А у вас просторно! Мы в ателье друг у друга на голове, даже не верится, что бывает столько места, — говорила она бесхитростно, как хорошим давним знакомым, и я рос, вытягивался, набухал от гордости, что у меня такая девушка.

С утроенной поспешностью и удештерённым тщанием вымыл руки, переодевался, прыгая от нетерпения.

У стойки срочного её не было. Сергей выставленной ладонью остановил меня, глазами показал, что она в приёмной, и почти беззвучно, с лицом человека, потерявшего ориентацию в пространстве, шепнул:

— Слу-ушай!.. — и покачал головой, показывая, что больше слов у него нет.

Колюня с торжественностью, чуть не плача, безголосо прокричал губами:

— Вот на ком надо жениться!!! — с укором прокричал, с тягостной досадой, будто пенял кому-то, непоправимо и глупо сгубившему свою жизнь.

А Фёдор Иванович в знак согласия с ними подтверждающее зажмурил оба глаза.

Классик пошутил, что пожарные женятся на кухарках. А сапожники, прибавлю я, на швеях. Она работала швейей, слушая на вечернем лекции по технологии швейного производства.

Наверное, опыт несчастья не дешевле опыта удачи. О Сергее Колюня говорил: «Под сраку лет, а всё женихается, бегаёт за каждой дурой, высунув язык!» Фёдор Иванович, по выражению того же Колюни, «отбывал четвёртый брак». Сам Колюня, изгнанный из дома, не находил, как калека, которому сломали костыли, опоры, и словно сплющивался, уменьшался, теряя задор, таланты, переставая быть собой.

И вот по слову этих людей, четверть часа поговоривших ни о чём с незнакомой им девчонкой, я безошибочно счастливо сделал главный выбор в жизни.

Нет-нет, церемония во Дворце пройдёт ещё лет через во-семь. Но с этого вечера и я, и она знали, что она моя невеста

— в том конкретном смысле, что будущая жена, и что это не подлежит обсуждению и не может быть отменено никем и ничем. С этого вечера, а точнее, со слов наставников, не видавших своего, но разглядевших моё, наши с ней отношения были простыми, неколебимо надёжными и потому, должно быть, что они навсегда, — ни чуточки не жадными и не знающими поспешности.

«Клён ты мой опавший...» — пел Сличенко, а я держал её руку, и мне, как пятикласснику, больше не нужно было ничего.

СЕРГЕЙ

Со скамейки у его подъезда поднялась Саша.

— Сашка!

— Я по делу, — поторопилась она оправдать свой неурочный приход.

Сергей не слушал — обнял её, на ухо заговорил своё:

— Умница, что пришла! Куда исчезла?

— Не зовёшь — значит, не нужна.

— Глупенькая! — что-то небывалое толкнулось в Сергее, родственное что-то, очень простое.

— Серёжка! —дохнула она опьяненно. Захлопотала: — Селёдку твою любимую принесла. В шубе.

— Селёдку? Съедим селёдку! И шубу!

Она собирала ужин. Подперевшись рукой, Сергей сидел за кухонным столиком, рассеянно улыбался.

— Слышу, Вера у Мефодича подозрительно так: шу-шу-шу!.. А я-то чую, когда о тебе! Мефодич: нет. Она что-то громче, он: нет, его, мол, рабочие понимают, мастерская дружная, не надо. А та — Сергей никого не имеет, случись неприятность, а у Маши... Да ты слушаешь?

— А? Слушаю, Сашенька.

— Сорвалось у неё. На этот раз. Но Вера, если задумала, Мефодича всё равно накрутит. Чем ты ей насолил? Всегда — Серёженька, Серёженька...

— Проценты. Ты же знаешь.

— Ну и уладь ты с этими процентами! Что тебе? Больше зарабатываешь!

— Что больше, то больше. Да, опрометчиво она Мефодичу — о Машкиных связях. Он чужих связей сам боится.

— Серёж, зачем ты упрямисься? Работяг жалеешь? А они, учти, только позлорадствуют, если тебя...

У Сергея сухо подломилась морщина на щеке:

— Ишь, как ты за проценты! Как за свои!

— Серёжа, я о тебе...

— Обо мне? Считаешь, это мой потолок жизненный — Мефодию, его проститутке усатой сборщиком податей служить?!

— Господи! — произнесла Саша сдавленным голосом. — Какой ты трудный человек!

В ванной она по обыкновению заняла перекидную скамеечку, Сергей, голову к её коленям, сидел в воде.

— Добавить горячей?

Он покачал головой, глаз не поднял. Почему, спрашивал он себя, нет сил на этот шаг, всеми уже сделанный в городе? Что его держит? К пятидесяти мастерскую приучили до него. Пришёл — стали давать. Колюня ещё песенку спел: «Тебе половина и мне половина!» Тогда якобы не отнимал, делились с ним. Якобы! Теперь надо прояснять отношения, начинать жить без ЯКОБЫ.

Ох, как тяжело! С ума он сходит, что ли? Вокруг живут люди, радуются, а он... Вчера в сауне щеголявшая, как и все они, нагишом, Настенька старательно очаровывала его, и он внушал себе, что должен очароваться: ямочки на гибком крестце, настырные грудки... И всего этого не хватило даже на то, чтобы отвлечь от тяжести, засевшей в нём.

Он усмехнулся с горечью, потрянул головой.

— Что? — склонилась Саша.

— Так, своему...

— Своему, своему! Взял бы и поделился. Что у тебя тут? — уколола его точёным ноготком напротив сердца.

— Тут? Нет, тут мне больше нравится у тебя! — запрокинул он голову, чтобы поцеловать её грудь.

— Поросёнок! — сказала она как совсем маленькому с тем же чувством, с каким мыла его всегда, и оттирала полотенцем, и целовала заблестевший тонкой кожей, розовый после горячей воды нос.

ВЕРАИОКА

— Заходите! — поднимая перекладину над ходом за стойку, по-хозяйски распорядился мужчина в добротном сером пуховике. Ростом, объёмами он был как штангист-тяжеловес, голос имел низкий, гудящий.

— Слушаю вас! — преградил ему дорогу Сергей.

— Проверка, — мимоходом сказал пришелец, глядя на свой нос сильно косящим левым глазом, и повёл плечом, зазывая

лысеющего молодого человека в коротких штанах и пиджаке с короткими рукавами, который протёр очки и вернул их на лицо, точно попав опорными башмачками в выдавленные ими синие, влажно блестящие вмятины.

— На! — передал ему первый чёрную папку из кожзамени-теля. — Ступай к заву в апартаменты, скальвай бумагу на акт!

Третьим ступил на рабочую половину коренастый человек лет сорока пяти с руками слесаря-ремонтника. Его жидкие волосы неприбранно торчали, а глаза смотрели виновато.

— Иваныч, — приказал первый, — отбери у приёмщицы книжки, и пусть она при тебе считает деньги!

— А может...

— Никаких «может»! Ты рабочим классом откомандирован выводить на чистую воду тех, кто его обирает!

— Проверка, как я слышал, начинается с предъявления документов, — напомнил Сергей.

Первый пригляделся к нему, и Сергею, стоявшему близко, показалось, что на него направлено одно большое, слившееся из двух, око.

— Ты, что ли, завом здесь? Будут тебе документы, провожай! — и двинулся было вперёд, но Сергей не отступил, и проверяющий, только качнувшись, снова уставил на него двуединое око.

Сергей ждал. Проверяющий прогладил мясистыми ладонями зачёсанные назад волосы, сопя полез в нагрудный карман.

— Ясно, — вернул ему направление Сергей. — Прошу.

— Нет, не сюда, в раздевалочку, — ответил насмешливо-мстительный бас. — Я люблю с раздевалочки начать...

Проверяющий открывал шкафчики, брезгливо касался одежды. Театрально побряхтывая, нагнулся за прикрытой газетой тряпичной сумкой, доверху заполненной женской обувью.

— Что это? — с ленивым торжеством, как без борьбы победивший, распялил он перед Сергеем зев сумки.

Сергей безразлично пожал плечами, не ответил.

Учуяв неладное, Колюня выслап меня на разведку. Я прошёл по коридору, постоял в туалете, на обратном пути заглянул в раздевалку.

— О! — окликнул меня косоглазый. — Снеси-ка к заву в кабинет!

Я принял сумку, немного отойдя, сунул её за пожарный щит.

Проверяющим были заподозрены личные ботинки Фон-Пети. Ещё он отыскал винтообразно ссохшиеся, толсто покрытые пылью мужские туфли — бесхозные. У заготовочной машины, у верстака, за которым меня обучали новому, он, похмыкав, подобрал ускользнувшие от веника обрезки, взглядом криминалиста долго изучал простроченный лоскут опойка.

Шкурки верха и подкладки, из которых закраивалась последняя пара, и сама она, затянута на колодки, — у Сергея в столе. «Очкарик сунется, — подумал Сергей, — сгорим...»

— Да-а, — покачал он головой, когда проверяющий отодвинул от окна верстак и шарил под радиатором. — Красиво, нечего сказать!..

И вышел. В кабинете первым делом попросил из своего кресла молодого. Тот торопливо поднялся, забирая с собой, как большую ценность, папку старшего. Бытовикам хорошо знакома была эта папка, в которой всему отведено своё место: ручке, карандашу, скрепкам, ластик, и чистой бумаге, и копирке. Хозяина папки тоже знали.

Давящим шагом из раздевалки пришёл старший, бросил на пол ботинки Фон-Пети и вторые, скрученные, как прошлогодние стручки акации.

— Если ВАМ некогда, — сказал Сергею, — выделите кого-то из работников!

Сергей полез в ящик, вынул накладные, что первыми попали в руку, включил калькулятор. Ответил, нажимая на клавиши:

— Вас и без того трое. А мои работают сдельно, отрывать не могу.

Старший поулыбался на него, как на дурашливого ребёнка, и повернулся к молодому:

— Толик, где сумка?

— Сумка? — не понял Толик.

— Да. Я мальчишкой передал.

Сергей тоже глянул на молодого, а старший навёл глаз на него, Сергея:

— А?

Сергей приподнял плечи, улыбки не сдержал.

— А ну, зови сюда этого сопляка!

— Ведите себя достойно! — поморщился Сергей.

С проворством крупного зверя старший метнулся из кабинета.

— Где сумка?! — гаркнул надо мной.

Не ожидал я от себя, что так перетрушу.

— Какая? — удивился фальшиво.

— Сопляк брехливый! — кинулся он ловить меня за ухо.

— Но-но! — подпрыгнул Колюня. — Без рук!

Фёдор Иванович поднялся размеренно, Фон-Петя картинно отбросил молоток, обращаясь к заказчикам, крикнул:

— Вы видели?!

Тиская кулаки, косоглазый приказал мне:

— Марш к заву!

— Никуда он не пойдёт, — сказал Фёдор Иванович твёрдо. — Ты сюда вынюхивать явился — вынюхивай. А хлопца трогать не смей!

Загудела и очередь. Я осмелел:

— Да пожалуйста! Идёмте!

— Сиди! — прикрикнул Колюня. — Ты мой ученик или чей? Сиди и работай!

— Безобразия какое! — слышалось из очереди.

— Тут спешить, а они мастеров дёргают, приёмщице работать не дают!

— Скажите спасибо, что я вообще мастерскую не закрыл! — бросил проверяющий очереди.

— Ишь ты какой! А нам что, босиком ходить?

Косоглазый, словно с трибуны, поднял руку:

— Товарищи! Я же ваш представитель! Вас здесь обируют безбожно, кто-то же должен...

— Кто обирает? Кого? — вышел Сергей. — У вас что, факты есть? — впился он ненавидящим взглядом в двоящееся око. — Мы здесь ни с одного человека копейки не взяли, чтобы ему конкретной работой не ответить! А вот вы, достославный Леонтий Павлович... Не разевай рот, знаем тебя как облупленного! Ты, Верлиока, с мандатами на проверку шастаешь по ателье, по магазинам, крохоборствуешь, мразь!

— Что-о-о?!

— То! Не тебя вчера в аквариуме, в подсобке, колбасой загрузили?

Верлиока громадным дрожащим телом накренился вперёд... Сергей насмешливо фыркнул:

— Дратся будем?

— Мальчиш-шка! — засипел Леонтий Павлович. — Да я твою будку вонючую вверх дном переверну! Я предоставляю факты!

Спустя час в кабинете негде было ступить от обуви, сне-

сённой туда Верлиокой.

— Всякий нормальный человек поймёт, что это с моей ноги! — успел уже и накричаться, и демонстрантом походить в своих туфлях Фон-Петя.

Иваныч и Толик виновато отводили глаза, Верлиока не желал его слушать.

— Покрываешь?! — игнорируя Фон-Петю, кричал он Иванычу.

— А что же, если оно так? — вымакивая мятым платком пот со лба, оправдывался Иваныч. — Восемь копеек не хватает у неё в кассе — так что же?..

— А я говорю: не может такого быть! Должно быть лишнее! Сам пересчитай!

— Считал. Восемь копеек. Так что же?

Несмотря на весь свой опыт, Верлиока никак не мог совладать с беспокойством. Этот забияка-зав вёл себя с какой-то дикой непредсказуемостью. Ни споров за каждую копейку, ни подбострастия, ни посулов. И за телефон не брался, не вызванивал охранного слова влиятельных горожан. Леонтий Павлович чувствовал себя локомотивом, оторвавшимся от вагонов, — так непривычно легко всё было и так же абсурдно.

И Сергей не узнавал себя. Жутковатая неуправляемая весёлость погуливала в нём. Всегда расчётливый, гибкий в подобных ситуациях... Раскаяние сыграть, рубаху-парня, вспылить, благородно возмутиться, сунуть деньги... И злобно наслаждаться в душе, зная, что ты ведёшь спектакль — ты, не они! А сегодня... Сломался? Или вдохновение взяло верх? Ведь спектакль ведёт он. Он! Только знает, что в финале выкинет непоправимое.

— Да-а, — сказал Сергей с подковыристой улыбочкой. — А вот представьте себе, Леонтий Павлович, что я всегда отзывался о вас с уважением! Проклинает вас кто-нибудь (проклинают вас частенько), а я говорю: нет! Нет, говорю, Леонтия, говорю, Павловича надо понять! Ну что такому видному мужчине даёт работа бухгалтера в ПТУ? Статью, запросами Леонтий Павлович тянет на министра. И — бухгалтер... А в общественном контроле с его знанием финансовых штук да с его характерцем... ох, как можно потешить амбиции! И материальное положение поправить...

ПРИПАДОЧНАЯ ПРАВДА

Утром Сергей выбрал в кладовой самый большой мешок — не мешок, рогожное чудище.

— Димыч, помоги-ка!

Я забрасывал пару за парой — мешок проглатывал. И принял всё. Кособокий, раздувшийся, стоял в ореоле потревоженных пылинок с кукишем узла, неуклюже завязанного вверху.

— Интересно, в дверь пройдёт?

— Сам не пройдёт — поможем! — заверил я.

В разинутом багажнике мешок сидел кляпом. С визгом, похожим на боевой клич, мы остановились у Дворца труда.

— Значит, так, — определил задачу Сергей, — Несём — никого не спрашиваем.

Вахтёрша недоумённым взглядом проводила нас от порога и до лифта, но так и не нашлась, что сказать. На третьем этаже у двери искомого кабинета Сергей оставил меня в коридоре.

— Разрешите?

Войдя, он удивился скупости обстановки: стол, два стула для посетителей, тощий сейф, похожий на пенал из кухонного набора мебели. А кабинет просторен.

— Я из обувной, которую проверяли вчера по вашему направлению, — сказал, как к противнику, присматриваясь к хозяину. Костюм из самых-самых недорогих, галстук словно нарочно подобран никаким. В просвете между опорами стола ровно, как у примерного школяра, поставлены ноги в шитоклеевых полуботинках местного производства. — Вот акт проверки, а обувь, если позволите, я сейчас занесу.

— Да, пожалуйста.

«Кто он? — пробовал угадать Сергей. — Убеждённый бессеребренник? Или притворщик, всё поставивший на карту ради карьеры?» Очень хотелось, чтобы тот оказался лицемером. Тогда то, что хотелось сказать, прозвучало бы по адресу.

Волоком влекомый мешок въехал в кабинет, рассеивая пыль и оставляя по пути следования блеклые волокна старой рогожи. Сергей краем зрения следил за реакцией: короткое удивление, а затем — веселье, которое тут же было взято под контроль. Он, в пику кабинетному люду заявившийся сюда с этой чудовищной торбой, ожидал всякого, но что над ним посмеются в кулачок...

Почувствовал жар на лице, увидел испарину у себя на ру-

ках и нелепо выкрикнул:

— Когда нас наконец людьми станут считать, не арестантами?! Что это — в личных вещах рыться, по карманам лазить...

Его внимательно слушали, и кричать дальше было глупо. Тяжело переводя дыхание, Сергей умолк.

— Присаживайтесь, — пригласили его. — Давайте для начала познакомимся. Фамилия моя Сидоренко, зовут Петром Сидоровичем.

— Сергей.

— Мне вчера докладывали о вашем поведении. И о вашей мастерской отзывались нелестно. Откровенно говоря, не ожидал, что вы придёте. Но давайте к делу. Как я понимаю, у вас претензии к проверке?

— Претензии — слишком мягко сказано! Вот прејскурант, вот акт, а вот живые пары, за которые нас обвиняют. Давайте сведём одно с другим, разберёмся!

— Давайте. — Пётр Сидорович развернул к себе экземпляр акта, принесённый Сергеем. — С недостатчей в кассе восьми копеек, — улыбнулся он едва заметно, — думаю, вы согласны?

— Согласен.

— Книга жалоб не на месте?

— Согласен.

— Сумка неоформленных заказов?

— Клевета.

Пётр Сидорович поднял глаза. Сергея ли пронять ищущим правды взглядом? Наморгнув на свои — как шторку надёрнув — чистосердечие, Сергей заглянул в угольно-серые глаза Петра Сидоровича. И вдруг почувствовал, что его шторка не держит, ползёт. Плутоватая улыбка скользнула по его лицу, Сергей потупился, сказал:

— Сумка! Что за единица измерения для такого серьёзного документа, для акта?

— Провели Леошу? — усмехнулся Пётр Сидорович. Сергей плутовато сыграл бровями и, как показалось ему, понял, что заставило его открыться: упрись он во лжи, и этот человек неминуемо, раз и навсегда отгородился бы от него официальностью.

— Дальше — завышение цен. Ну и перечень! В заказе за номером... взято три рубля как за заднюю полуперетяжку, а произведена обыкновенная замена супинаторов. Сумма пе-

ребора — два рубля.

— Вот эти сапоги. Сделана полуперетяжка.

— Можно приглашать эксперта? — поднялись пристальные глаза Петра Сидоровича. — Всё сделанное здесь совпадёт с описанием работ в прейскуранте?

— Нет. Делалось по моему рацпредложению. Зарегистрированному, кстати, по всем правилам.

— И труда затрачено меньше?

— Естественно. На то она и рационализация.

— А цена?

Сергей шумно выдохнул.

— Вы никогда не пробовали такое в ремонт сдать? Чтобы супинаторы сломаны и сапоги без змейки?

— Пробовал! — откинувшись к спинке стула, засмеялся Пётр Сидорович. — Жена бегала, бегала по мастерским, потом швырнула в меня сапогами. Твоя, говорит, система, что хочешь, то и делай! Так я у себя по соседству Арику десять рублей дал — всё сделалось. Жалко, не знал, что у вас можно тремя рублями обойтись!

— На будущее знайте.

— Спасибо. Но давайте сразу уточним: свои деньги я волен тратить, как мне заблагорассудится, а вот обирать трудящихся не могу позволить никому.

— Хах ты! — Сергей хлопнул себя по коленям, мотнул головой. — А вам никогда не приходило в голову, что ситуацию с десяткой за пару супинаторов создали вы? Не одному себе, всей стране!

— А это уже интересно!

— О, если у вас есть настроение поговорить, то дальше будет ещё интересней! Значит, взять с клиента три рубля — это, по-вашему, обобрать его. А рубль, нет не рубль, девятнадцать процентов, девятнадцать копеек заплатить сапожнику за работу, на которую он ухлопает полсмены — это как?

— Нет, простите, рубль — это не «по-нашему», это в прейскуранте записано: рубль.

— Нет, уж это вы простите! Вы с этим прейскурантом не пошли к дураку, который его сочинил, а идёте к сапожнику, требуя, чтобы он жил согласно этой дурости! А он не может. И не хочет. Тысячу причин придумает, но супинаторы менять за рубль не возьмётся! А возьмёт сначала троячку — реальную плату за свой труд — а к ней доберёт за риск. Чтобы было чем откупиться, когда посланный вами Верлиока поймает его на

тройке и расскажет, что десяти копеек перебора достаточно, чтобы открыть уголовное дело! А теперь у меня к вам вопрос. Когда сапожника принуждают работать полсмены за двенадцать копеек, вы не чувствуете себя обязанным вступить за него? Ведь он такой же трудящийся, как и тот, которого вы защищаете, не давая брать с него три рубля. И точно так же вносит деньги в профсоюзную кассу, из которой вы получаете жалование.

— Я не понял, вы меня жалованием попрекаете?

— Нет, я спрашиваю: сапожник — он для вас трудящийся или не трудящийся? И второй вопрос: так кого же вы всё-таки защитили — того, кто приходит в мастерскую, или того, кто там работает?

— Если сообщённое вами принять на веру — никого.

— Э-э нет! Если бы так! Вы заботитесь об интересах. И крепко заботитесь. Но о чьих? Во-первых, вы, как козла в огород, посылаете на проверки Верлиоку.

— Нет, погодите, нет, нет! — лицо Петра Сидоровича нетерпеливо двигалось, глаза потемнели, поблёскивали, как антрацит. — Леонтий Павлович — да, он скользковат. Но ведь мы привлекаем к проверкам людей от станка, они не знакомы с ухищрениями бытовиков, с механикой злоупотреблений в торговле. Нужен кто-то знающий. Даём в подкрепление Леонтия Павловича. Но руководят проверкой другие.

— Руководит Леонтий Павлович. А им — стыдно. Поймите, порядочному человеку стыдно этим заниматься! Я десятки проверок встретил и проводил. Или приходят люди, которые по совестливости ни во что не вникают, или приходят лихоимцы. Те во всё вникнут! Чтобы слямзить.

— Вот как? Интересно. А я всё же склонен верить, что большинство товарищей, которых мы посылаем на проверки, — люди совести и принципа.

— Верить в совесть? Прекрасно! Но почему бы вам, верящему в совесть проверяющих, не взять да и не поверить в совесть сапожника? А? Что улыбаетесь? Или совесть сапожника пробой не вышла?

— Нет, нет, я так не думаю. А улыбаюсь тому, как вы мыслите — перевёртышами.

— Я? — воскликнул Сергей, чувствуя, что его перемыкает, что защитное, отвечающие за границы дозволенного, прогорело в нём насквозь, и его, словно током, бьёт припадочной правдой. — А если это вам только кажется и на самом деле у

вас в сознании всё перевёрнуто с ног на голову? Вот Верлиока нашёл сумку неоформленных заказов, сделал о ней запись в акте. Кто будет отвечать? Я, заведующий. Как я отвечаю перед начальством? Взяткой. А как, по-вашему, я спрошу с того, кто эту сумку принёс? Правильно! Деньгами. Проверки регулярны, поэтому деньги с сапожника я беру вперёд и с запасом, чтобы и на проверки хватило, и начальству, и мне. Поделено до копейки: ежедневно, ежеминутно сапожнику с левого его рубля сорок копеек, мне, то есть нам, — шестьдесят. Так-то.

Пётр Сидорович слушал пронзительно.

— Но ведь это, — сказал он без голоса, одним дыханием, — эксплуатация. Вы отдаёте себе отчёт, на что замахиваетесь?

— Отдаю. А вы поняли, что служите у меня загонщиком?

— Вы... Вы это бросьте! Ваше место за решёткой, и я все силы приложу, чтобы вы находились там, где вам положено находиться!

— Вы имеете в виду лично меня или всех нас?

Пётр Сидорович с отвращением отвернулся, зубы его были стиснуты.

— На всех у вас сил не хватит, а сажать одного меня — какой смысл?

— Найдётся смысл! Десяток-другой таких, как вы, посадить...

— И что? Вот коробка передач. Заменить в ней старую шестерёнку новой — что она, в другую сторону крутиться станет?

— Вы что проповедуете? Что у нас неуправляемая страна?

— Если говорить о помянутой коробке передач, то очень даже управляемая. Только во вред.

— Ничего, починим!

— А надо ли? Выбросить — и делу конец! Все, начиная с приёмщицы, занимаемся искусственно придуманным делом. Целыми институтами преysкуранты сочиняем, Леонтий Павловичей расплодили, как...

— Понятно. Ни преysкуранта, ни контроля — полный произвол сапожника.

— Пётр Сидорович, вы же в институте учились, политэкономию сдавали! У вас деньги, у меня умение в руках. Не нравлюсь вам я — ушли к другому. Какая ещё власть нужна клиенту над сапожником?!

— Назад к хозяйчику?

— Хозяйчик — я! — почти выкрикнул Сергей. — И во сто крат более подлый, чем тот, природный, который за бугром! Тот барахлом своим рискует и потому вынужден мастера ценить, дорожить клиентом. А мне начхать на мастера! Мне — пьяница, портач — только бы тихий! И на клиента мне начхать! Передо мной одна задача: доить мастерскую и нравиться начальству!

— Не нужно кричать! Скажите толком, что вы предлагаете?

— А разве не ясно? Оставить сапожника в покое!

— А токаря? А шахтёра?

— Я не токарь и не шахтёр.

— И потому вам наши завоевания поперёк горла... Как же прав был Ильич! Мелкий буржуа никогда, никогда не будет нашим.

— Если Верлиока для вас — ваш, то точно — никогда.

Пётр Сидорович уже слышал в себе привычное, пригодное против всего, что против: «враг!» Но подкупающая, беспощадная к себе самому искренность этого буржуйчика... Он почувствовал, что обязан открыть тому глаза.

— А знаете, — сказал он, — дело не в Верлиоке, с которым мы, чего греха таить, вяпались. Для вас тут принцип — оставить в покое. Потому что вы, сильный, в так называемом покое быстренько уселись бы на своих же слабых. Нет? — спросил он, по-интеллигентски оставляя люфт для сомнения и ни капельки не сомневаясь в душе.

СЕРГЕЙ

В мастерской за обедом он весело выхвастывал, как запудрил мозги кабинетному чистоплюю. А чуял — за спиной, словно карауля его, дожидаясь своего часа, стоит что-то недоброе. И казалось, замолчи он, задумайся — тут этому недоброму и время.

Обед вышел затяжной. Потом Колюня принёс ещё две бутылки, позвал полдничать. Но водка была как разбавленная — не отхлестаться ею от повисшего за спиной.

Домой он отправился пешком. Насколько был пьян, догадывался по тому, как шарахались от него люди.

А уснуть не мог. В голове вязко ворочалось: «Рубить концы, рубить...»

Чтобы оглушить себя, выцедил стакан коньяку, сидел над блюдцем с лимоном, раскачивался. «Плохо, всё плохо, так плохо — хуже некуда».

Не в силах дожидаться действия коньяка, снова со стиснутыми челюстями потянул в себя омерзительное зелье. Обрывки последних мыслей спутались в голове, и только одно чувство — плохо, плохо! — не отуплялось, не отпускало его.

Невдолге очнулся плачущим. Бессильный, он полз по полу, царапал лицо колючими ворсинками ковра, страшно скрипел зубами.

Потом, как на звезду, смотрел на фонарь за окном, на голую жёлтую лампу под эмалированным колпаком.

Мальчишками они расстреливали такие лампы из рогаток. Такая была радость — попасть. И такая чернота вспыхивала в глазах, что целились в свет.

«Прихлопнуть бы так себя...»

Он ехал на фабрику. От заявления в кармане, от мысли о предстоящем ознобно поёживался, веселел.

Саша встретила панически распахнутыми глазами.

— Рвёт и мечет! — прокричала шёпотом. — Приказал тебя — немедленно!

Серо-седые, волчьих тонов, и жёсткие, не лежащие назад волосы директора были вздыблены, как у помешанного.

— Ну? — дал ему слово директор.

— Что? — смеха ради спросил Сергей невинно.

— Шута из себя корчишь? Ты что там наплёл? Какие проценты? Поборы завёл — пойдёшь в тюрьму!

— Это вы репетируете, Иван Мефодиевич?

Директор вскочил, раздувая широкую напряжённую грудь, шарил по воздуху руками, словно искал, чем огреть Сергея.

— Перебеситесь, — хмыкнул Сергей, — тогда позовёте.

У Веры Павловны он без приглашения сел, с весёлым ожиданием заглянул ей в глаза.

— Серё-ожа-а! — сыграла она готовность, пожурился, всё простить. — От кого, от кого, но от тебя...

И у Сергея был приём против Веры Павловны: улыбаясь, он глядел на неё с обожанием.

— Верочка Павловна, помогите!

Она поддалась легко, видно, и ей надо было того же.

— И всегда так: чего ни натворят — Верочка Павловна, помогай!

— Мне надо уйти, Верочка Павловна, тихо и без задержки.

— Что ты! — как в волейбольный мяч, толкнула она в его сторону руками. — И не заикайся! Езжай в мастерскую, я

попробую Мефодича унять.

— Верочка Павловна, мне не уладить надо, мне надо уйти!

— ТЕБЕ надо!

«А что надо ВАМ? Придержать и уничтожить показательно — дескать, мы разложившихся караем без пощады...»

— Зачем я вам, Верочка Павловна? Человек на моё место готов, не знали, как поделикатнее спровадить... Нет, объясните Мефодиевичу, что это в ваших интересах, чтобы я ТИХО ушёл.

Добродушная одутловатость её лица исказилась в порочную. И это известно Сергею. Теперь она заговорит, как бандерша.

— Мальчик, стоит Мефодичу пальцем пошевелить — от тебя мокрого места не останется.

— Верочка Павловна, я парень простой, говорю открыто: не назначите на сегодня передачу мастерской — спихну под откос всю контору.

— Вот! Вот ты и проявился! Мой грех, сбила Мефодича взять тебя после цирковых фокусов. А он мудро говорил: «Привыкла собака за возом бегать — она и за санями побежит!»

— Побежит, ой, побежит!

— Что ты о себе возомнил, птенчик? Что ты можешь? Вчерашний акт проверки при малейшем нашем желании — готовое на тебя уголовное дело! Кого ты пугаешь, уголовник? Чем? Сказочкой о взятках? Так каждый арестант на других валит, себя выгораживает.

— Да оно-то так, Верочка Павловна, но запах... К чему вам... пахнуть?

В конце дня — звонок.

— Не уходи, — сказала трубка голосом Веры Павловны. — Приедет Маша, передашь мастерскую.

— Приятно иметь дело с умными людьми! — ответил Сергей, хотя трубка уже попискивала глухотой. Тут же поднялся и уехал: доживёт Машутка до утра, не велика барыня.

Передача прошла без единой заминки — Маша подписывала всё не глядя. «Она боится, что я передумаю!» — потешался Сергей. И выкатился из мастерской, словно соскользнул с горочки на детской площадке. Вжжик! — и свободен.

С шиком вырулил из двора, пролетел по улице, как скаковую лошадь к препятствию, подвёл машину к бордюру, заста-

вил прыгнуть на него, дверца в дверцу подкатил к телефону-автомату. Девушка, упорхнувшая из телефонной будки, покрутила пальцем у виска.

— Саша, Сашуня, придумай что-нибудь, убеги с работы! Что? Нет, совсем наоборот! Не могу ждать, радость хранению не подлежит! Так. Понял, встречаю.

За городом, в придорожном ресторанчике Сергей убеждал её:

— Сашка, это неповторимо! Раз в жизни поступи не думая, брось всё! Завтра будем на теплоходе, помнишь, как по Днепру?

— Остынь, не будь маленьким! Я с первого в отпуске, первого и поедем.

— Саша, мне сегодня надо, сегодня!

— А завтра что?

— А что такое завтра? Что оно такое, что мы из-за него никогда сегодня не живём?

— Серё-о-ож, не капризничай, потерпи!

Бесшабашности уже не было в нём, Саша видела это. Но он держался. Кураж! Целовал её на ступеньках, как похищенную, подхватил на руки. Чувствовал: стоит ему сникнуть, хоть на мгновение задуматься — и придёт то кромешное, уже столько времени караулящее его за спиной.

И оно пришло. Овладело им спящим. Он вырвался из сна с бешено стучащим сердцем и сухим, цепким и колючим, как шифер, ртом.

«Спокойно! Что случилось? — пробовал вразумить себя. — Разве не естественно радоваться свободе? Что дальше? Рабский вопрос!»

Ему ли, ему ли не пристроиться, он ли не найдёт себе на хлеб с маслом?

Но где, как? Шить обувь? Руки истосковались, всей душой бы он влёгся в эту работу. Но гнуться на кровососа... Нет. Что угодно, а это — нет. Самому — кровососом? И этим сыт. По ноздри.

И он узнал, что стерегло его за спиной. С непреложностью, незыблемой, как дважды два, открылось, что третьего пути не существует, а первый и второй им испробованы, и снова ему уже ничем не заставить себя пойти по тому или другому. Не что-то изчужа — отвращение, скопленное им самим, заполнившее до краёв, — не пустит его никуда, не даст жить.

Не спала и Саша, лежала затаившись. Светало. Мятая постель, как видела она её, лёжа щекой на простыне, походила

на дюны. Сергей был счастлив тогда, на взморье. Какое это счастье, когда он счастлив!.. И что, что его мучает теперь? Господи, столько людей завидует ему, а он... Он не любит её? Да, не любит. Ну и завёл бы другую, бросил бы её к чертям собачьим! Всё лучше, чем такая мука...

Она приподнялась — заглянуть ему в лицо, выведать у спящего. Сергей слышал, но глаз не открыл — лежал на спине с расслабленным, вымученным лицом старика.

«Боже! — ужаснулась Саша. — А я — с ревностью, бесноватая баба...»

Когда Саша ушла на работу, он уснул. Проснулся за полдень. Недобро поглядывая на себя в зеркало, побрился. Потом позвонил Саше — чтобы не приходила сегодня — и лёг отдохнуть, набраться сил для главного.

Поднялся в третьем часу ночи, заспешил.

На улице тихо, свежо. Оглашенно пронеслось такси, всполошило тени. И опять сомкнулась успокоенность.

Тропка завела его в палисадник. Чтобы не возвращаться, он пошёл через клумбу — мягкую, как что-то живое, и, переступив заборчик, очутился у глухого торца двенадцатизатяжки. Там, под деревьями, было темно, как в колодце. Сергей глянул вверх и, качнувшись, панически заискал руками стену, опустил взгляд. Высоты он боялся врождённо, а эта стена, если смотреть оттуда, где он стоял, отвесно и немислимо глубоко уходила в небо, которое за чёрным бортиком кровли зияло бездоньем.

Холодом, пошедшим от сердца, стянуло кожу. Он сцепил зубы и, шаря по стене в поисках выбоины, за которую можно бы ухватиться, приказал себе поднять глаза. Шея не слушалась. Множество жил напряглось под подбородком, но он тянул и тянул голову назад и — глянул в леденящую пропасть. Смотрел долго, с вызовом. «Вот так, — сказал удовлетворённо. — Так, — утвердил, — туда».

Лифт словно ждал его — заурчал приветливо, нараспашку открыл своё светящееся нутро. А дальше, представлял Сергей, будет лесенка из арматурных прутьев, тесная дверка-люк, крыша — пологая, облитая чёрным, липкая.

Всё было так: лесенка, дверка в половину его роста, но — запертая. Крохотный, простенький замочек. Достало бы скрепки, двух спичек, но в карманах — ничего. Тут за его спиной клацнул замок. Пойманым воришкой Сергей сжался на ле-

сенке. Приоткрылась дверь, и вылетел кот. Упал на лапы, хищно вздыбил шиворот, воззрился на Сергея сверкающими глазами.

— Х-х-у! — перевёл Сергей дыхание. «Сколько, — подумал, — всё же трусости во мне! Всю жизнь с поджатым хвостом!»

Он сдавил замок в кулаке, крутнул, что было сил и злости. Скрежет, писк — и на петлях заболталась голая дужка.

Ещё не различая границ крыши, Сергей двинулся по плавному скату. Ужас входил в него через ступни. Ноги немели. Вот и край. Низкие перильца из прута толщиной в палец, обрыв. Испытывая мерзкую дрожь в коленях, в поясице, он согнулся, вытянул шею, чтобы на кратчайший миг увидеть провал, дно которого освещала лампа при входе в подъезд. Ему так пахнуло в глаза высотой, что он упал на спину и, быстро-быстро перебирая руками и ногами, пятился до самой лифтовой надстройки.

Весь трясущийся, стуча зубами, просмеялся: «Что, кишка тонка?..»

Страшно было не смерти — пропасти. И будто бы кто-то маленький в нём, больше смерти боящийся высоты, взмолился к нему-большому: зачем толкаешь меня с высоты? хочешь убить себя? но мне страшно! неужели, чтобы ты умер, я должен претерпеть такой страх?.. и зачем тебе умирать? за что? те, выжившие тебя из жизни, будут жрать, пить, смеяться над тобой, как над последним дураком!

«Не сделаю сейчас, — подумал Сергей, — не сделаю никогда».

Битым, сломанным вернуться в ту же подлость, снова замаливать свой бунт, искать себе нового Ивана Мефодиевича, выслуживать его расположение...

Исступлённо зажмурившись, он оторвался от надстройки, побежал. Непослушные ноги толкались о твёрдое. Какой шаг провалится? Вдруг, ослепительно больно подсечённый перильцем, он кувыркнулся — в пустоте. И в ту же секунду прозрел: жизнь!!! жить!!!

Он извернулся, хватая руками воздух, ища опоры.

Изнутри рвалось истошно: «Конец! конец! конец!»

А он всё летел, и это долгое-долгое последнее его время с немислимим ускорением заполнялось ужасом перед тем, что он сделал, на что покусился.

И не что-то другое — этот ужас вдруг взорвался, расплыв его, Сергея, в чём-то, что показалось ничем.

НОВАЯ МЕТЛА

Выпроводив Сергея за порог, Маша преобразилась: ни лёгкости, ни улыбочности, ни приятного голоса. Грузно ступая, она вошла к срочникам, остановилась позади нас, оперев кулаки о жировые валы на боках.

— Вот что! — бросила, чтобы никак к нам не обращаться. — Сегодня, пока мастерская на учёте, вы переберётесь в общий цех.

Колюня замер, разведывающее глянул на Фон-Петю, на Фёдора Ивановича.

— Э-э, — почтительно промычал Фон-Петя, — Машенька...

— Машенька — это кто? — уставились на него мутно-серые пузыри без зрачков.

— Я говорю, Мария Остаповна, — завихлял голосом Фон-Петя. — А срочный как? Никак?

— Это что же? — слотнул обильную от нахлынувшего удовольствия слюну дядя Сева. — Сапожной аристократии капут? Хи-хи-хе-хе-хе!.. Фон-Петя, здравствуй в нашей хате! Колюня, правильно, за свой, за нагретый верстачок! Фёдор, и ты?

— И я! — не унывал Фёдор Иванович.

С фабрики привезли кассовый аппарат, расположили его на стойке, с внутренней стороны которой, как на фотобумаге, светлыми пятнами отпечатались контуры забранных в цех верстаков. Горы мусора, всегда возникающие, лишь стронь рабочее место, ещё не были убраны, а только отмечены в сторону, но электрики уже вели проводку к кассовому аппарату, а две новые приёмщицы топтались вокруг него и время от времени с готовностью преданных людей летели исполнять приказы Марии Остаповны. При этом цех они обминали, как зачумлённую территорию, а находясь там по обязанности, казалось, и дышать воздерживались.

Рите и Валентине было объявлено, что их вызывают в контору.

— Я с этой свиньёй, — говорила Рита громко, чтобы слышали не только в цехе, — и сама бы дня не работала! У неё ж глаза — яма, а в брюхе дна нет! С последнего дерьма будет сметану собирать!

Цех обречённо посмеивался.

А Валентина по пятам ходила за Марией Остаповной, плакала, умоляя простить её. Так и не поинтересовавшись, за

что, новая хозяйка простила, но чтобы с первого шага Валентина знала своё место, приказала ей мыть полы именно там, где новые приёмщицы отирались возле кассового аппарата.

И вот мастерскую открыли. Правда, ещё работали столяра — навешивали дверь у входа в коридор, через который раньше постоянные заказчики беспрепятственно попадали к мастерам; но застрекотал уже кассовый аппарат, и одна из приёмщиц стала наведываться в цех со «срочными», при которых вместо наряда на работу была копия отбитого кассой чека.

Приёмщицу отличала неуспокоенная худоба злючки. Её вялые уши оттягивали грузные золотые серьги, а на пальцах, сухих, цепких, болтались увесистые кольца — все одинаково большие ей по размеру, как с чужой руки. Раздражённо-молчаливая, своё имя она выговорила еле слышно:

— Анжелика.

Янчик кисло уткнулся, а когда она нагнулась за обувью, показал глазами на её костлявый зад и скривился.

— Ты старое забывай! — со смешком сказал дядя Сева. — Мало ли чем тебя тут баловали!

— Ой, не хочу! — отвечал Янчик, мечтательно щурясь.

А Анжелика знай себе сновала между кассой и цехом — быстрая, как игла в умелых руках. Молчком расставит возле мастеров обувь с меловыми пометками — и убежит. А убегая, будто и не смотрит по сторонам, но неизменно заметит, что уже сделано, прихватит по пути вороватым скорым движением. Раздавать она начинает с дяди Севы — тот первым сидит у входа и на верстак свой сбоку для приёмщиц повесил вырезку из плаката, слова: «Не проходите мимо!»

Вот дядя Сева принял очередные туфли, вынул из них листок с синим штемпелем, отбитым кассой, и, согнув его, протолкнул большим пальцем между указательным и средним.

— Эта, как тебя... Ан-жулика! Ты носишь, носишь, а что ты носишь?.. — показал кукиш, надставленный бумажкой.

Анжелика глянула вопросительно, рот её казался ссохшимся навсегда.

— Я спрашиваю: что ты носишь? — повторил дядя Сева, багровея глазами.

— Срочные заказы, — прошелестела Анжелика.

— Я таких срочных не понимаю! — сказал дядя Сева и с хрустом затолкал копию чека глубоко в носок туфли.

Анжелика молча переставила туфли Фон-Пете. Тот крутнулся, швырнул их в коридор:

— Мне чужих обедков не надо!

Анжелика без единого слова, как склевала, подобрала их, а с новым своим появлением подставила Фёдору Ивановичу. Фёдор Иванович попросту не притронулся к ним. И не он один — все, как по команде, перестали замечать работу, приносимую Анжеликой. И переглядывались, кивая в ту сторону, где у стойки срочного ремонта вот-вот должен был разразиться скандал. А скандал — как ливень: упадут первые капли — первые раздражённые вопросы, и — пошло...

Остановившись посреди цеха, Мария Остаповна медленно повела взглядом в одну сторону, в другую. Четыре ухающих шага — и около Фёдора Ивановича, подкатывая глаза и пристанывая, словно у неё невыносимо болит голова, Мария Остаповна спрашивает:

— Почему задерживаете заказ?

— Некогда, — ответил Фёдор Иванович без норова. — Это всё тоже на сегодня.

— Так. А кто успевает срочное? Та-ак, — повторила понимающе. — Ну, вам же хуже. Двадцать процентов за срочность надбавка — вам бы как подарок. Значит, Анжелочка, на сегодня срочного нет, принимай на послезавтра.

— А это?

— Это верни, извинись.

— Там, — зашептала Анжелика, — кричат: была одна мастерская, где быстро делали, и в той чёрти-чего натворили!

— А ты объясни, — не таясь, отвечала Мария Остаповна, — что это воровали, когда делали быстро. А мы порядок навели.

И надавливая пальцами на виски, как бы удерживая на лице маску страдания, Мария Остаповна направилась в кабинет.

— Эй, хозяйка! — крикнул дядя Сева. — С твоим порядком мы обедать не обедали, на ужин тоже не заработаем?

Мария Остаповна не сочла нужным отреагировать.

— На выдержку нас берёшь? — дядя Сева с ненавистью. — Давай, давай! Посмотрим, кто кого пересидит!

«Выдержку» Мария Остаповна наложила на нас двухдневную. Утром третьего дня Анжелика принялась за «оживление старичков» — вчерашние, позавчерашние чеки она выдавала заказчикам и брала с них деньги, ничего не пробивая по кассе. Сумму своей рукой записывала на листочках, которые мастера должны были держать до расчёта у себя в верстаках, а

потом, когда они получают своё, листки будут собраны Анжеликой для отчёта перед Марией Остаповной.

— О-о! — сказал дядя Сева. — Мимо той, в кабинете, копейки не проскочит!

Весело сказал: запахло свеженьким рубликом — как не подняться настроению? И всех в цехе вдруг перестала раздражать худоба и молчаливость Анжелики, и бесспорным достоинством увиделась её угрюмая чёткость в работе.

В привычной гонке незаметно промелькнул день. Расчёт первому, как водится, — дяде Севе. У его верстака Анжелика быстро-быстро выщелкала на карманных счётиках сумму, под чертой скорописью черкнула итог в дяди Севином листке. С точностью до копеек отсчитав долю дяди Севы, отошла к Фон-Пете.

— Жулика, ты не ошиблась? — спросил дядя Сева после того, как дважды переложил с кучки на кучку полученное.

Анжелика обратила к нему сухой недоумённый взгляд.

— Я не в гляделки с тобой играть сюда хожу! — крикнул дядя Сева. — На, считай!

— Ну? — едва разняла Анжелика губы, перебрав рубли и мелочь.

И дядя Сева понял. Задыхаясь, косноязыко засипел:

— Я?! Тебе?! Козе драной — шестьдесят процентов?! Тебе и твоей Остап-Бендеровне?! На! — швырнул бумажки и брызгами взлетевшую мелочь ей в лицо. — И сей же секунд пробей по кассе! Всё, что я сделал!

Анжелика собирала деньги; от крика дяди Севы за окном, на остановке, оглядывались люди.

— Твари наглухие! Нашли себе дойное стадо! Бей по кассе! Чеки на бочку!

Мария Остаповна носа не показала из кабинета, поберегла здоровье.

Погоняемый безжалостными пальцами Анжелики, кассовый аппарат трещал так, словно стальными челюстями грыз медяки и серебрушки.

Поднялся со списком «левого» Фёдор Иванович, за ним красиво, решительно — Фон-Петя. Скорым смекающим взглядом проводил их Колюня. Встал я — и Колюня уже подхватился и уже шагал со мною плечо в плечо. Сзади, посмеиваясь, поддёргивая штаны, шёл Янчик.

— Во очередь! — гикнул он у аппарата. — Бабки на чеки меняем! Рассказать кому — не поверят!

И хлопнул по плечу дядю Севу, отходящего с пачкой чеков:
— Салют, чекист!

НИКТО ЗА ВАС НЕ ЗАСТУПИТСЯ!

Не было ни трибуны, ни президиума, но собрание отчётливо делилось на «массу» и руководящий орган. Мы — за верстакими, а у выхода с единым для всех выражением непримиримости на лицах выстроились приёмщицы, Мария Остаповна, предфабкома Аннушка Приходько и Вера Павловна. Стояли так, словно собственными телами готовы были раз и навсегда запереть нас в цеху.

Вера Павловна, производя разящие жесты, нацеленные в дядю Севу, восклицала:

— Мы знаем, кто здесь пристроился карман набивать, для кого государственный план — тяжкая обуза! Знаем, кто здесь воду мутит! Но мы не позволим калечить нам людей, мы кое-кому укоротим аппетиты!

Аннушка Приходько из-за плеча Веры Павловны вглядывалась в работяг жалеющими глазами — смотрела, как на провинившихся детей, которых ей и больно наказывать, а надо.

— Мы все живые люди, — чтобы присутствующие в полной мере прочувствовали интимность того, что она собирается сказать, Вера Павловна понизила голос. — Понимаем, что в быту никто без рубля домой не уходит. Но надо же и меру знать. Меру не забывают! — со значением повторила Вера Павловна.

У неё в усах зависли капельки пота, помада на губах сваялась, углубив морщины и делая входное отверстие её большого рта дряблым с виду, таким, словно его почасту и надолго разевают шире назначенного ему природой предела.

— Партия и правительство, — Вере Павловне ничего не стоит перейти от упоминания сокровенных профессиональных секретов к фразам глобальным, непогрешимым, — ведут непримиримую борьбу с пьянством и алкоголизмом. И мы не допустим, чтобы на вверенном нам государственном предприятии некоторые, как свиньи, день-деньской цедили горилку! На такое непотребство, — высоко, у потолка, потрясла Вера Павловна актом, где зафиксировано было дяди Севино «присутствие в нетрезвом состоянии на рабочем месте», — мы ответим в полном соответствии с требованием времени! Никто вас не защитит! — словно побудительной инъекцией прыснул в Аннушку взгляд Веры Павловны. И Аннушка закивала, под-

дакивая. — Никто за вас не заступится! Подписан и утверждён приказ о вашем увольнении за пьянство. И впредь, — Вера Павловна, как веником, промахнула выметающим взглядом по нашим лицам, — впредь будем поступать так же решительно!

Аннушка, обязанная взять слово, в недоумении развела руками:

— Как же вы так! Сами проситесь в очередь на квартиру, а сами...

— Но я же... я угол снимаю... — залепетал Колюня.

— А некоторые, — подхватила Вера Павловна, — уже первыми в очереди...

— А меня за что? — всполошился Фон-Петя. — Я и отдал, как полагается, и всегда, что с меня, пожалуйста!

— Моя хата с краю — это, Петенька, не позиция! Ты должен жить интересами коллектива, и ты отвечаешь за всё, что происходит в коллективе!

СЕРГЕЙ

Саша нашла его среди неопознанных.

Неумело перехватывая, суетясь, мы вынули из автобуса гроб — тяжёлый, обтянутый сатином, будто нарочно сделанный выскальзывающим из рук. Передние открыли дверь, пустив себе навстречу запах перехода и отворачивания живого к неживому.

— Сюдой! Сюдой! — крикливо командовала крепко сбитая женщина с калёным загаром огородницы на лице и в длинном прорезиненном фартуке. — Ставляй! Куды кидаешь? Как-вель!

В это время напарница, похожая на неё, как сестра, с аппетитом доедала булку, подпихивая её пальцем в рот, и осудительно раскачивала головой — до чего же безалаберны эти мужики!

Нас выпроводили и затворили за нами двери, но слышалось оттуда всё так звучно, зримо. Тележка, похожая на козлы для распиловки дров, пронзительно и часто-часто взвизгивая колёсиками, проследовала куда-то вглубь, где на неё было сброшено что-то тяжёлое. Потом провизжала обратно, и то тяжёлое перевалилось в ванную, заполненную водой. Сразу же, почти без задержки, выхлюпнулось оттуда, тяжко упав в пустое, деревянное. И поворочавшись там, полопотав одеждой, притихло, улеглось.

— Заходите!

Трясая слабость толкнула меня под колени, когда работница сдёрнула тюль, покрывавший голову.

— Ваш?

— Вроде... — после затяжного молчания выговорил Янчик, всё ещё всматриваясь в разбитое лицо, затронутое тлением.

— Вынось!

— Как они могут есть — там? — глубоким дыханием прогоняя тошноту, сказал я в автобусе.

— Принюхались, — ответил Фёдор Иванович. Потом добавил:

— А мы — не так? Не нюхались к своему?

— Нет Серёги! — вздохнул Колюня над стопкой за номинальным столом. — А я вам говорил: пока он жив — мы обеспечены? Вот теперь напробуетесь, как оно без него!

Выпив, ковырнул было в тарелке, но есть не стал и, словно задетый тем, что не закусывает и дядя Сева, спросил того:

— Доволен?

— Чем это?

— А не ты из него жилы тянул, ни разу куска хлеба не дал съесть спокойно?!

Фёдор Иванович накрыл ладонью руку дяди Севы, готового что-то выкрикнуть в ответ, сказал уже который раз за день:

— Нам не собачиться, нам как-то Севу выручать...

— Опять за рыбу гроши! — не выдержал Колюня. — Как ты его выручишь, когда всё по закону?

— Молчал бы ты, законник! — скривился Янчик.

— Нет, — вцепился в него Колюня, — ты скажи: есть такой закон, что нельзя пить на работе или нету?

— А шестьдесят процентов с нас драть — есть такой закон? У них у самих всё по закону?

— Как краденое делить — на то законов не бывает. Тут уже кто сильнее. А они, пока они наше начальство, сильнее нас будут. Так что дают сорок процентов — бери и радуйся. Сорок — не девятнадцать.

— А Севу гонят — тоже радоваться? — спросил Фёдор Иванович.

— А Сева пусть в другой раз думает! Не умеешь, говорят, пить — соси дерьмо через тряпочку!

— А ты умеешь?

— Я? — озадачился Колюня. И нашёлся: — Я — учусь!

— Правильно, Колюня! — выкрикнул дядя Сева после третьей. — Не подписывайся за меня! Но учти, что и за тебя, хитромудрая ты тварь, никто не подпишется!

— Ой, испугал! Я всю жизнь сам за себя. Почему и думаю раньше, чем языком ляпать! Мне тоже не очень хочется своё кровное отдавать, но для чего-то оно сделано так, чтобы они над нами, не сами мы по себе. А над ними — тоже... А оно — расходы...

— Расходы? — заскрипел зубами дядя Сева. — Ещё бы! На их расходы напасть — никакого горба не хватит!

Янчик кивнул Саше, которая подкладывала ему в тарелку и смотрела с грустным умилением, как на ребёнка, который хорошо кушает, — кивнул и сказал:

— А тридцать процентов тоже больше девятнадцати. Завтра тридцать оставят — согласимся?

— И двадцать больше, — с горькой иронией прибавил Фёдор Иванович. — А на индпошиве считается, что и девятнадцать, когда они левые, больше правых девятнадцати. Дескать, подходящий с тебя не берут... От такой хозяйской щедрости я из нового пошива к латочникам сбежал, а оно и тут к тому же катится. Нельзя соглашаться!

— А как, Федя, как без живой копейки?

— А им? — возразил Фёдор Иванович. — Они на голой зарплате долго просидят?

— Они найдут, — сказал Колюня. — У них товар в руках, книжки квитанционные. Да мало ли! Найдут!

— А — не давать! За каждым шагом — смотреть!

— Угу. За нами и смотреть не надо. Принял в обед — иди сюда, голубчик!

— Пить — завяжем! — горячился Фёдор Иванович.

— Зарекалася свинья...

— Тут другое ещё, — сказал Фон-Петя, прищуривая правый глаз и поднимая бровь над левым — показывая, что глядит глубже говоривших прежде. — Предположим, упёрлись мы и бьём всё направо. Месяц бьём, второй... Выработка подскочила, зарплата зашкаливает. Спрашивается: кто нам такую зарплату долго даст получать? Опять расценкам обрезание?

— Да-а... — удручённо признал Янчик.

— Ладно, давайте сначала о Севе!

— С Севой я считаю так, — сказал Янчик. — Завтра все гуртом — к Мефодию. Скажем: или — или!

— Или — что? — как клюнувшую рыбку подсёк Фон-Петя.

И проверил причёску — погладил себя.

Янчик озадаченно поискал глазами, не ответил.

— За Севу надо попросить! — нашёлся Колюня. — Тихонечко. Ласковое телятко... Но всем вместе.

ТЕ ЛИ ЭТО ЛЮДИ?

— Та-ак, — оглядел нас, мнущихся у двери, директор и остановил взгляд на дяде Севе, которого всего трясло (в трамвае он растерял мелочь, переданную на талоны). — Ну, проходите, усаживайтесь, в ногах правды нет.

Мы ещё потоптались немного, но вот Колюня, всячески подчёркивая свою инвалидность, опустился на первый у входа стул, и все поняли, что тому, кто сядет последним, быть ближе всех к директору. Заспешили, поталкивая друг друга, теснясь.

Уселись. Тишина. Слышно, как от дыхания поскрипывает кожаный, домашнего шитья, пиджак Янчика.

Я впервые видел директора. Большие, тщательно вымытые руки вложены одна в другую, спокойны. Крупное невозмутимое лицо. Редковатые, но толстые и упругие, как щетина, волосы; они неравномерно серы — седые до чистой серебристости и потемнее — свинцовые. Этим тёмным прядям близки по цвету глаза — холодные, знающие доподлинно, чем дышат сидящие на дальних стульях подчинённые, какой холодок пробирает их души.

— Слушаю вас, — сказал он с бесстрастностью судьи, который даёт последнее слово подсудимому, заранее зная, что тот скажет и каково будет решение, вынесенное им, судьёй.

Бригада затихла ещё глубже. Я смотрел на своих. Янчик, наскоро причёсанный, с засевшей в кудлатых волосах пушинкой, прятал в рукава свои никогда не отмываемые дочиста руки; Фон-Петю тянуло пригладить причёску, но он только вздрагивал и всё заметнее потел лбом; комочком сжавшийся Колюня с напоказ выставленной больной ногой, на которой, как на верёвке, обвисла штанина с налипшими на ней брызгами грязи; дядя Сева, у которого крупно, как у радиста на ключе, прыгала в дрожи рука, ужимался, виновато прячась за Фёдора Ивановича.

Те ли это люди, которых я знал в мастерской и которые

когда-то казались мне такими независимыми, такими щедрыми и состоятельными? Никто даже не одет так, чтобы было видно, что он — мастер, работающий с очень-очень редкими выходными по десять, по двенадцать часов в сутки. Следы этой работы — точно, на каждом из них. А достаток... Где же достаток?

— Иван Мефодиевич, — заговорил Фёдор Иванович не совсем своим голосом, — мы о Всеволоде.

Директор слушал.

— Зачем его увольнять?

— Зачем или за что?

— За что, мы знаем: Марии не по вкусу пришёлся.

— Думаете? А мне кажется — он спивается на работе. Так или нет?

— Выпивка тут — зацепка! — голос Фёдора Ивановича обрета уверенность.

— И на любого бы бумажку составили! — подключился Янчик.

— Бумажкам мы с вами цену знаем, — согласился директор. — А без бумажки посмотреть на него?.. Так, — сказал он после паузы, — давайте заново разбираться, от печки.

И нажал клавишу:

— Саша, Веру Павловну ко мне. И Приходько. И пусть Приходько захватит членов фабкома, кто есть на фабрике.

Вызванные появились немедленно — так скоро, что не усомнишься: собраны заранее. Но то был их промах, Иван же Мефодиевич вёл свою роль безупречно.

— Аня, — придирчиво обратился к Приходько, — фабком утвердил приказ об увольнении Петрова?

— Да! — выпалила та, как плохая актриса, не выждав реплики партнёра. — Вот протокол.

— Та-ак, — сказал Иван Мефодиевич с бичующей издёвкой. — Протоколы у вас в порядке! А как насчёт живых людей?

— Но... Иван Мефодиевич, вы же... И Вера Павловна...

— Что-что?

— Я хочу сказать, такое время... разгар борьбы с пьянством...

— С пьянством. С пьянством! А не с рабочим человеком! Зачем мне на фабрике профсоюзный лидер? Чтобы людям

были понятны действия администрации. А товарищи вот приходят, спрашивают: за что? зачем?

— Иван Мефодиевич, я...

— Кому нужны ваши, в свинячий голос, оправдания? Вы допустили грубейшую ошибку в работе!

Аннушке по молодости лет трудно без подготовки, «с листа» одолеть роль «виновного». Она растерялась, обиженно заморгала. Вера Павловна взялась её вытягивать.

— Здесь и я виновата. Но Иван Мефодиевич, примите во внимание и ситуацию. Сергей оставил мастерскую в крайне запущенном состоянии. Коллектив, я не побоюсь этого слова, разложился!

— Очень хорошо, что вы признаёте свои ошибки! Но это же наши с вами ошибки, а вы труженика — крайним! Сапожники не вчера стали в бутылку заглядывать и не за один день от этого отвыкнули!

— Иван Мефодиевич, посмотрите на этого человека!

— И что? Гнать под забор? Где он спился — не у нас? И кто ему поможет, если не мы? Возможно, есть смысл отправить его на лечение. Да, на принудительное. Нам с вами даны и такие права.

Услышав «принудительное», дядя Сева вздрогнул и весь зажался, удерживая трясучку.

— Как бы мы ни поступили, Иван Мефодиевич, а оставлять его в мастерской, около текущей копейки, нельзя.

— Так переведите его сюда, на фабрику. Здесь нет клиентов, некому рубли совать.

— Вы правы, Иван Мефодиевич! Видите, а мы не догадались...

— Догадывайтесь, вам люди доверены! На том пока и остановимся. Не поможет — отправим лечиться. И вот что, Вера Павловна: никаких придирок к товарищам за сегодняшний приход сюда! Товарищи нашу ошибку исправляли, за это им спасибо!

Мы миновали проходную, свернули за угол, и только тогда Фон-Петя, радуясь, что опасность миновала, возбуждённо заговорил:

— Видите — не побоялись, сходили! И правильно, что угро-

жать не стали, по-хорошему...

Дядя Сева, словно убегая, мелким и скорым-скорым шажком засеменял наискосок через проезжую часть — кратчайшим путём к «стекляшке», где разливали пиво и выведен был в отгороженную клетушку вино-водочный отдел.

Арьергард, Колюня и Фон-Петя, вильнул занимать стоячий столик, Янчик стал в очередь за пивом, а дядя Сева и Фёдор Иванович уже несли к столу водку.

Я узнавал в них свою маму. Их жалко было до слёз и хотелось бить всем, что попадёт под руку.

— Надо, — виновато сказал Колюня. — Нервное залить...

А с бутылки съевшимися жёлтыми зубами дяди Севы уже свезена была пробка, и жидкость, чавкая, полилась в стаканы. Колюня, ничего не говоря, придавился к своему губами.

— Не-ет, братцы, — шёпотом, как школьник, переживший нахлобучку, говорил дядя Сева. — Как он бахнет — принудиловка! Я и присел! Так перетрухал — что там шестьдесят процентов, двести бы отдал!

Но после второго стакана дядя Сева обрёл свой облик, теперь бы он поговорил с директором!

— Что-о? — доказывал Фон-Пете. — А я говорю: кишка у него тонка! Не от большой храбрости на Аньку перевёл!

Фон-Петя, улыбаясь в усы, локтем поддевал Колюню.

— Пойти к нему, сказать, кто он такой?! — на всю пивнушку разорвался дядя Сева.

Янчик, прихлёбывая пиво, говорил Фёдору Ивановичу:

— А как он: чтобы придирок к товарищам не было! Товарищи нашу ошибку исправляли! Струхнул Мефодий!

— Нет. Обвёл он нас вокруг пальца. Сделал по-своему, а нам и пикнуть нечего.

— Да иди ты! — вырывался дядя Сева из рук Фон-Пети. — Мне теперь на всё начхать, никаких процентов! А вот ты... И ты! Вы с Колюней — проститутки! Вы за свои сорок процентов... У-у...

Фон-Петя подлил ему в стакан, подал, как успокоительное.

— А все уже приняли шестьдесят процентов, мы последние, — сказал он Фёдору Ивановичу, явно приглашая задуматься.

— Лично я не приму. Нельзя. Шестьдесят, когда согласимся, не надолго задержатся. Нынче времена скорые — семьдесят, восемьдесят прискачут, как на лошадке.

ДО ЧЕГО НАС ДОВЕЛИ!

Болезненная ломливость Марии Остаповны улетучилась без следа, открылся непочатый край здоровья. С энергией голодной волчицы рыскала она по мастерской, следя, чтобы ни одна копейка не просочилась к нам. Заказчиков в цех — ни под каким предлогом, вызвать мастера в приёмную — боже упаси!

— У меня здесь не проходной двор! — повторяла Мария Остаповна.

Зато дорожка в её кабинет день ото дня становилась оживлённее. Собственноручно Марией Остаповной заказы оформлялись по самому скупому минимуму. А Колюня приклеил наряд с образцом её почерка на стену. Узнав её руку, мычал:

— М-м! Эта парочка полежит, подождёт хозяина! Я узнаю, сколько она на самом деле с него сдёрнула!

Отлов «её» пар повели всем цехом. Их не ремонтировали, а если и делали — значит, не то, что нужно, а если и то, что нужно, значит, не так. Могли и просто вынести в обеденный перерыв за пазухой, швырнуть на улице в урну.

Пакостничество ширилось с быстротою пожара и перекинулось на всю обувь в мастерской. С энтузиазмом вредительствовал Фон-Петя. Вспомнил «скрип», модный перед войной.

Вся в слезах, прорвалась однажды в цех задёрганная, средних лет учительница. Чудовищным скрежетом сопровождался каждый её шаг.

— Что вы со мной сделали?! За что?! — рыдала она.

— Дамочка, — убеждал её Фон-Петя, — это же кожа!

— Какая кожа?

— Хорошая. Она всегда поскрипывает.

— Поскрипывает? Это называется — поскрипывает?!

— А чем ни лучше — тем слышнее, — подпел Колюня.

— Вы... Вы издеваетесь? Мне сменить их не на что, но я их выброшу у вас, я босиком уйду!

— Сюда подойдите, пожалуйста! — позвал Фёдор Иванович. — Присядьте, я исправлю.

Фёдор Иванович один не портачил злонамеренно.

— Не могу, — оправдывался. — Рука не поднимается.

И не хихикал мстительно по поводу скандалов в приёмной. Однажды сказал:

— До чего нас довели!

И как обиженный до слёз ребёнок, поджал губу, отвернулся.

Настенька поболтать приходила теперь под окошко. И её выследила Мария Остаповна.

— Шляется, шляется! — испытанный приём Марии Остаповны: как помоями, окатить человека хамством. — Чего тут глазеть? Зверинец, что ли?

Юными, непростительно красивыми глазами Настенька прошлась по её оплывшей фигуре, сказала:

— Не зверинец. Но одна свинья есть!

Мария Остаповна — чуть стёкла не вылетели — захлопнула перед ней окно, задёрнула неподатливый шпингалет.

— А нам что, задыхаться? — встал я.

— Не задохнёшься!

— Видали распорядительницу? Иди у себя в кабинете окнами хлопай! — плечом потеснил её я.

— Ты... Ты мне не тычь! — зашла Мария Остаповна.

— И ты мне не тычь, — ответил я и, чтобы злее досадить, как ни в чём не бывало, продолжал прерванный разговор с Настенькой:

— А комендантша тебе что?

— Да ну её! На твою завшу похожа моя комендантша. Квартиру надо искать. Мне дали адресок, ходим вместе?

Разъярённо тряся щеками, Мария Остаповна сунулась между нами:

— В-вы находитесь на работе, н-не на посиделках!

— Рабочий день — он восьмичасовой. А я по десять сижу.

— Никто вас не заставляет перерабатывать!

— А и правда! — воскликнул я, действительно сделав открытие. — Чего мы сидим здесь, как привязанные?!

— Не сидите! — метнулась Мария Остаповна из цеха. — Но положенное вы у меня отработаете, как положено!

У Янчика тоже словно глаза открылись:

— Что значит привычка горбатиться! — произнёс он изумлённо. — Выработки по две нормы нагнали, хвосты себе поот-

сживали, а всё сидим! Или расценки под новое обрезание готовим?

— Нет, — засмеялся Фёдор Иванович, — это мы пнёмся в героини Машку подсадить!

— И жрать что-то надо... — не кому-то в цеху, а так, словно тапочку, с которым возился, сказал Колюня.

— А выработка и ей не нужна, — в тон ему повёл Фон-Петя. — План нагонишь — танцуй потом от достигнутого. У нас с ней, если подумать, все интересы сходятся. Проценты поделить...

ГУРТОВЭ — ЧОРТОВЭ

Не стало хватать на водку — Колюня перешёл на самогон, нельзя пить открыто — стал прятаться. Утром литровую банку первача опустит в бачок над унитазом и бегаёт, отхлёбывает.

Мария Остаповна давно выследила его, но берегла козырёк к случаю. Вот под конец дня Колюня сбегал к бачку, покаялся, потарачился, собирая лоб гармошкой, да и ушёл «в лебедя». Тут и появились два милиционера, провожаемые заведующей.

— Этот? — спросил один из них, молодой. — Э-э! — потрепал Колюнин затылок.

Колюня распрямился, деловито снял с верстака нож, стал подправлять его на камне.

— Или не этот? — растерянно глянул на Марию Остаповну сержант.

— Этот!

— Но он же вроде...

Мария Остаповна тяжело проухала к туалету, вернулась с банкой.

— Какое может быть «вроде», когда вылакал литр самогона?

— Ваша сивуха? — посуровел сержант.

Колюня только теперь разглядел его и сказал не нашим, не вашим, соединив «моя» и «нет»:

— Ме...

— Пройдёмте!

— Зачем это? — быстро заговорил Колюня. — Мне работать надо! Между прочим, за этим, — тряхнул сапогом, который собирался надеть на лапку, — люди сегодня придут!

— Я отстраняю его от работы! — заявила Мария Остаповна. — Пьяного — отстраняю!

— Да, пройдемте! — утвердился в своём решении сержант

и, взяв за плечо, потянул Колюню со стула.

Но вдруг тот совершенно беспомощно боком свалился на пол. Большая нога, как палка, вдетая в штанину, задралась кверху, а сержант, подобно нагрубившему футболисту, вскинул руки, показывая, что не виноват. Его напарник старшина бросился поднимать Колюню — торопливо и с осторожностью. Милиционеров обступили мастера.

— Что же это вы?.. — недобро сказал Фёдор Иванович.

Лицо сержанта покраснело вдвое гуще петлиц.

— Я прошу прощения, не знал...

— Это симуляция! — напряжённо, режуще выкрикнула Мария Остаповна. — Он скачет, как молодой, когда захочет!

— Я смотрю, в этой истории что-то очень ей нужно... — прищурившись, сказал старшина сержанту.

— Мне-е? Я здесь отвечать поставлена! Пьяный — в вытрезвитель!

Старшина не ей — сержанту:

— Сама на бумажку из вытрезвителя набивается...

— Я не имею права пьянство покрывать!

— И отстранила бы от работы, докладную подала, — негромко размышлял старшина. — А то — тихий человек, инва-лид, и вдруг — нас...

— Я буду жаловаться, учтите!

— Извините, — наконец-то старшина ответил Марии Остаповне непосредственно. — Но милиции здесь делать нечего. Не тот, извините, случай.

Оправляя после передряги вихры и зыркая по сторонам ещё испуганными глазами, Колюня бодрился:

— Что, скушала?!

— Тебе бы меньше кушать...

— Дим, живу бездомно, мальчишку на меня уськают, а тут — эта... Одно на одно! Не выпьешь — удавился бы.

Фёдор Иванович перенёс свой стул, сел рядом.

— У меня в клиентках докторша есть по этим делам. Может, подлечишься?

— Да что я — алкаш? Придавило...

— Не алкаш он! — безжалостно съязвил я. — А кто ж ты? Ничего, Машка в элтэпэ устроит — там тебе расскажут, кто ты есть!

— Я, если хочешь, сам её устрою!

Из сатинового мешочка, в котором хранил наряды, Колюня достал исписанную квитанционную книжку с разложенными

в ней по номерам мятыми, уже из обуви, нарядами. Пальцем поманил к себе всех.

— Видали: в наряде три шестьдесят, а на корешке — рубль шестьдесят. И вот, и вот, и вот. Восемь квитанций в книжке туфтовых! Это не вырезатель, это тюрьмой пахнет!

— Но как же? — озадачился я. — Пишется под копирку...

Колюня глянул снисходительно.

— А убрать копирку — трудно? Денежки с клиента берут по квитанциям, а в кассу сдают по корешкам. Они Колюню обойти хотели, хорольского хохла! Что-нибудь новенькое придумайте, дуры идиотские!

— Стой, — Фон-Петя — встревожено. — Это же и у нас?..

— А ты думал!

— Нет, — усомнился Фон-Петя. — Бухгалтерия на фабрике сводит сумму выработки с суммой набора. Не может выработка выше набора прыгнуть.

— И не прыгает. Они её тут минусуют. Втихаря.

— Так это они ещё и зарплату у нас...

— А ну, братцы, доставай наряды! Сейчас генеральный шмон, и сдадим её в ломбард!

— Х-е-е-е! — хотел шёпотом сказать «нет», но только прохрипел Колюня. — У неё концы, прикроют!

— В столицу отвезём!

Колюня протестующее замотал головой:

— Она нам в руках нужна, не в тюрьме! На крючке стерву держать! Сейчас проверочку, все грехи в кучу и — пугнуть!

— Так. А кто из приёмщиц выписывал?

— Валька! Она и на смене как раз...

— Валентина! — позвал Фёдор Иванович. — Валентина!

— Что, мальчики?

Если не на глазах у Марии Остаповны, Валентина ластится к мастерам, с жалобинкой ластится — вы, мол, сироты, и я сирота.

Фёдор Иванович взял её под локоть, усадил.

— Как это понимать, ласточка?

Запах Валентининых подмышек удушающее поплыл по цеху.

— Поёшь, сучка, «мальчики, мальчики»! — метнул в её сторону Колюня.

Фёдор Иванович отнял у неё наряды:

— Готовься за решётку!

— Федечка! Заставляет!

— Врёшь!

— Вот! — упала она на колени и, стукнув себя в лоб, перекрестилась. — Детьми клянусь!

— И все так пищут?

— Все! Одна она ничего, всё нашими руками!

— Вот что, — внушающее сузил Фёдор Иванович глаза. — Чтобы мы сейчас с Машкой драки не устраивали, стащишь у неё все корешки, принесёшь нам.

— Федечка, только меня не сажайте! Это она! А я бы — вы же знаете!

К концу смены она, оглядываясь, вбежала в цех, не поспевившись грязного лифчика, распахнула халат, вывалила корешки.

— Фёдор Иванович, вы обещали! — напомнила, пятясь.

— Доставка наряды, братва! — скомандовал Фёдор Иванович. — В лото поиграем. Я выкликаю номер — вы наряд ищите.

В каждой из книжек две-три нормальных квитанции — подделка, чистый наряд и снова — липа, липа...

— Так и тянет мусорам её сдать! Руки чешутся!

— О милиции забудь! — сказал Фон-Петя. — Свои съедят, сапожня.

— А второго такого случая может и не быть.

— Ну ты, Федя, думаешь, что говоришь?! — вскинул руки Янчик. — Ритка месяц назад не так же для нас левак оформляла? Или хрен с ней, и её посадим?!

— Да, увязли...

— Нам на крючок её взять — другого не надо! — Колюня крадучись подошёл к пыльной завеси, выглянул в коридор и — цеху шёпотом:

— На крючок! Самые надёжные люди — которые на крючке!

— Смотри сам не попадись!

— Я-а? А вот идём, посмотришь, как она у меня повертится!

— Иди. Мне с ней не о чем говорить.

— А я пойду! Кто со мной? За глотку возьмём!

— За глотку это как? Половину ей предложишь?

— Не сбивай, Фёдор, — поднялся Фон-Петя. — Нам удача в руки, а ты...

У кабинета Колюня поднял палец — дескать, послушаем. Мария Остаповна говорила по телефону.

— Я ей и две палки колбасы, и набойки бесплатно, а она Денисика на субботнике заставляет носилки таскать! Ты представляешь? Ребёнку всего год как вырезали аппендицит! Ну хорошо, что это МОЙ ребёнок, который не постеснялся сказать, что он думает о ней и о её носилках...

Колюня решил, что это не тот разговор, который нельзя прерывать, толкнул двери.

— Та-ак! — вывалил он из фартука на стол книжки и наряды. — Та-ак! — повторил, мстительно подбирая губы.

Судорожная волна колыхнула зоб Марии Остаповны. Она опустила на аппарат часто говорящую трубку и, словно выматривая, как и куда ей выскочить, метнулась взглядом.

— Ну? Что теперь? Милицию будем звать или не будем?

В бесцветных, видящих насквозь всё гадкое в человеке глазах Марии Остаповны промелькнуло бегучее настроение: от зародыша надежды — мгновенно к уверенности, злобе и презрению. И всё это с одной догадкой: «Пугают!»

— Милицию? Звони! — предложила она телефон. — Ага, милиции не будет. А что спросите? — сказала буднично, как на базаре.

— Ты, Остаповна, ты это, — неубедительно погрозил Колюня. — Ты прекращай нам пьянство шить!

«И всё? — посмеялись пузыри без зрачков. — Не густо».

— А то и мы пришьём! Мы тоже умеем!

— Ты, Ко-лю-ня, когда другой раз пугать меня соберёшься, для начала сам бояться перестань!

— Думаешь, не сделаем? — скакнул Колюня ближе к столу.

— Делай!

— Сделаем, когда понадобится! А сначала поговорить пришли.

— Поговорить? Хорошо. Давно пора. Разве из-за пьянства сыр-бор? Да пей, хоть залейся! Жить, как мы живём, в нашей системе нельзя. Вот в чём дело. Вы же не маленькие, знаете: с меня спрашивают, я спрашиваю с вас. И никуда мы от этого не денемся.

— Спрос — он разный бывает, — сказал Фон-Петя. — Такие проценты...

— А какие уж ТАКИЕ?

Фон-Петя замялся:

— Многовато...

— На всей фабрике так. Не понимаю, из-за чего вы бунт подняли.

— На всей, может, и так, а у нас не так было, — сказал Колюня в сторону.

— А как у вас было?

— Пол на пол, — уронил Колюня себе под ноги.

— Вот как ты поделил! — отозвалась Мария Остаповна с ненавидящей улыбкой. — Ловко! А сидеть за всеобщее первое счастье — кому? Ты, не клятый, не мятый, хочешь иметь равную со мной, а я за это должна поставить на кон свою свободу и сиротство моего ребёнка?!

В её ощерившейся непримиримости была выношенная в мучительных раздумьях правота. А меня вдруг толкнуло к мысли, что они договорятся. Сейчас сойдутся не на шестидесяти, так на пятидесяти пяти, и... И она — ОНА! — будет помыкать нами...

Я пошёл из кабинета.

— Куда? — рванулся Колюня.

— Да идите вы...

Следом за мной ушёл Янчик. Сел за верстак, работая, пофыркивал, хмыкал.

Переговоры закончились. Колюня с недовольным видом раздал наряды. Возле меня остановился со словами:

— Дёргаешься? Не молодой ещё — дёргаться? Из-за вас — сорвалось!

Потом он опорожнил сатиновую торбу, разделил общие наши наряды и бросил мне на верстак мою половину:

— Грамотный стал — сам крутись! Точно мать моя говорила: гуртовэ — чортовэ!

С этого дня повеселели приёмщицы, а к Марии Остаповне вернулась барственная ленца. Первого числа она взяла с собой на фабричное собрание Колюню и Фон-Петю. В мастерскую они вернулись со знаменем.

— Вот и укуси её теперь! — сказал Фёдор Иванович.

— А то мы не знаем, как эти знамёна даются! — раздражённо бросил Янчик.

Весь день он ждал кого-то, настороженно прислушивался к голосам в приёмной.

— Как бы они ни давались, а Маша теперь — героиня! — дразняще и как бы от имени Марии Остаповны заявил Фон-Петя. — И, между прочим, выработки это вы ей нагнали! А я говорил...

В приёмной зазвенел знакомый голос — Янчик втянул голову, напрягся.

— Крыса жирная! А я говорю — крыса! Она меня будет спрашивать, куда я иду! Дегенератка!

Никаких сомнений: угощая Марию Остаповну комплиментами, по мастерской шествует Рита. Вот ворвалась она в цех — сияющая, румяная от гнева.

— Заткнитесь там, дуры! — крикнула не рискнувшим преследовать её приёмщицам. А улыбкой уже льнула к мастерам:

— Ну, здравствуйте! Бедненькие, как же я вам сочувствую! Наградил бог хозяйкой! А приёмщицы? Уродины! — крикнула в коридор. — Я бы вам живо zenки повыцарапывала!

— Кормилица! — расплылся Колюня.

— Солнышко наше! — заулыбался Фёдор Иванович. — Как там у тебя на новом месте?

— Да уж лучше, чем у этой дуры!

И — в коридор:

— Жаба!

И — мне:

— Не заклевали тебя тут без меня?

И — Янчику:

— А ты не расслаживайся! Там у меня бригада — только оставь!..

И — Фёдору Ивановичу:

— Федя, а вы чего? Такие мастера сидят, шизофреничкину вонь вынюхивают!

И — в коридор:

— Вонючая шизофреничка!

И — цеху:

— Разбегайтесь от неё! Я вот Яню отпросила, и вы разбегайтесь! Пусть себе где хочет дураков ищет!

Под прикрытием этой речевой завесы Янчик свалил в до-

рожную сумку инструмент, выскользнул переодеваться. И опять возник — в светло-сером костюме, но неумытый, всклокоченный. Рита тут же стала, тараторя, смещаться к выходу. Потом с шиком, как на боевой тачанке, пересекла приёмную и со ступеней выдала на прощание несколько длинных нецензурных очередей.

— Такие все они, призыватели! — с настроением пояснил мне Колюня. — Не дадим! Ни копейки! И бегом к Ритке под юбку!

В конце смены Анжелике, взглядом поманившей его из цеха, Колюня сказал:

— Хватит прятаться, Анжелочка! Все тут свои, и все одинаковые!

Анжелика пристально посмотрела на меня, на Фёдора Ивановича.

— Говорю — валяй открыто! Не перед кем тут комедию ломать!

Анжелика по-шпионски сунула ему пакетик, с тем же подошла к Фон-Пете.

НАДЛОМИЛАСЬ ЭПОХА

Повесть о грешных людях, спасавшихся и спасших меня, и о ремесле, в котором я увяз, как в судьбе, легла на бумагу без затей — как о том же рассказывалось друзьям и девчонкам.

Одним визитом на почту я послал её в два журнала. В «Юность», обожаемую с армейских времён, и в «ЭКО» — журнал сибирских учёных, которые под водительством академика Аганбегяна втолковывали согражданам, как с помощью несложных и безвредных перемен дать распрямиться и вольно вдохнуть всем, кто хочет работать. Их зачарованно слушали; журнал выписывали все научные институты, заводы, колхозы, конторы... Стране, приученной ходить по струнке и жить командой сверху, верилось, что ОТТУДА стоит только правильно приказать и верно распорядиться... Блаженно, с упованием верили низы, не ведая, что пожнут. И ребячески верили в собственное всеисилие верховные, упиваясь иллюзией, что отлаженной не ими, не ими вышколенной державой можно рулить, как бог на душу положит.

«Юность» отозвалась так скоро, словно там только тем и были заняты, что ожидали мою рукопись. Они советовали найти

более убедительные мотивы к поступку одного из героев, которым всё заканчивалось, и вернуть рукопись для дальнейшего её рассмотрения.

Ответ из «ЭКО» пришёл позже лишь на время, взятое длиною почтового плеча. И был краток: «Печатаем».

Вдогонку к этим известиям вышел закон об индивидуальной трудовой деятельности, написанный дрожащими руками и потому ещё не разрешивший то, чем мы с Толяныч жили уже несколько лет. Он был предтечей. Он обнадеживал намёком на послабление уголовной травли.

Это было осенью и зимой. Летом в трёх номерах печаталась повесть, а наступившей весной явился на свет «Закон о кооперации в СССР».

Время меняло русло. Эпоха надломилась аккуратно в том месте, где силами, теснившими её, были отжаты из законопослушной жизни Толяныч и я. Мы первыми выпали в пролом — в пространство, пока не имевшее границ и твёрдой почвы.

Продолжение в следующем номере.

Геннадий ЗЕЛЬДОВИЧ

ИЗ ЛИРИКИ БОЛЕСЛАВА ЛЕСЬМЯНА

У МОРЯ

Рыбаки, оробев перед бурей грядущей,
И понявши все то, что понятно на свете,
Вперекор глубине – бездоходные сети
Распинают шатром над иссохшею пущей.

«Только олух живет недопевком прилива,
Богатеет с богата, нищует из нища;
Ну а мы понимаем, что жизнь двуречива,
Мы умеем из неводов – делать жилища!

Бесплезен шатер! Но над миром стожалым
Его грива развеяна так долгополо,
Что тоскливому веку не будет измола!» –
Поясняет бахвал молчаливым бахвалам...

Отрекшись от себя, отрекшись от бывшего,
Из своей чужедальности в тутошность вчужен
Каждый прежний ловец золотого улова,
И ныряльщик во тьму, и покрадчик жемчужин!

И ничто их не тешит: им видеть не надо
Беломлечную чайку, моллюска-багрянку;
И раздувшийся парус для них не отрада,
И подобно их время улитке-подранку.

Проползает оно в распотешном величье,
Где прозрачнее тени, ажурнее ветки.
А заслыша вопрос, как же звались их предки, –
Вместо отзыва щерят колючки уличья.

Но в ночи никому не чинится обиды,
Отворится родник, среди дня незнакомый, –
И срываются с губ, зацелованных дремой,
Жемчуга-шепотки, янтари-полувзрыды.

И в такую-то ночь им не будет пощады,
И выходят их мучить их души егозы –
И сновидят себя, как подводные гады,
Что бывают собой только в собственной грезе.

БАЛЛАДА О ЗАНОСЧИВОМ РЫЦАРЕ

Чуждый спеси, чуждый злобе,
Рыцарь спит в дубовом гробе.

К дреме вечной и порожней –
Он улегся поулежней.

А любовница молодая
Муслит четки, причитая:

«Мне гадать не стало мочи,
Как ты там проводишь ночи!...

Разлучила домовина
То, что было двуедино.

Эти руки, эти губы
Ныне страшны, а не любы!

И боюсь тебя позвать я,
Шелестнуть подолом платья!

Не делю с тобою ложа,
На себя я не похожа –

И натуживаю тело,
Чтоб тебя оно хотело!

И живу теперь на свете
Я с мечтою – кануть в нети!»

Он решил, что в том измена,
И глаголет ей из тлена:

«Зачервивел я глазами,
Но лежу я не во сраме!

Принекчемившись к никчемью,
Не стыжусь я – что под земью!

Все мне стало посторонне,
Будто Господу на троне!

Я таким предался негам,
Что весь мир – моим ночлегом!

Здесь ни солнышка, ни сада,
Ни любви твоей не надо!

Кровь, пресытятся бесшестий,
Не нашептывает мести!

Где же большее надменье,
Чем у легших под каменья?

Спим так тихо, безымянно:
Ни искуса, ни обмана.

С губ, распяленных бездонно,
Не сорвется даже стога!

Тут спознался я с соседом –
Тленье ест его изъедом.

И распаду не переча,
Он во смерти – мой предтеча!

Об ужасном, спеклокровом
Не обмолвился ни словом!

И ни возгласом, ни взрыдом
Не заискивал обидам!

А останкам – хватит силы,
Чтоб завыйть со дна могилы!

Но однажды мы воспрянем –
Все мы Господу помянем!»

И скончавши эти речи,
Замер так же, как предтечи.

А любовница молодая
Удалилась, причитая...

ПАНТЕРА

Я не буду рабыней завистливых зорей,
Я не буду поддувщицей солнечным горнам.
Этим зорям на горе и солнцу на горе,
Мой хребет неизменно пятнеется черным!...

Порвала бы я солнце на мелкие клочья,
И мой рык – на земле, а молчанье – в зените.
Я тебя стерегу из таких инобытий,
Где мой танец – повсюду, но смерть – в средоточье.

Умыкни же меня – я избавлю от порчи.
Я пожру твою жизнь и несчастье впридачу.
Буду чують ноздрями предсмертные корчи:
Перезлатила мир – и тебя перезлачу!

Увенчай меня розами. В тихом уюте
Проводи по дворцу, где резьба и букеты,
Где пурпурным вином пересмежи согреты,
Чтобы хляби житья – расхлебались до сути!

Лишь девица одна там давно погрузнела,
Вопрошает у судеб, пытается у мрака...
Вся она – лишь мечта белоснежного тела,
И, объятая сном, дожидается знака!

И пока ее горе не сделалось горче,
Ты швырни ее мне, потеплу-погорячу:
Я почую любовью предсмертные корчи,
Когда солнцу золотому я противозлачу!

Он, меня предназначивший пляскам стокровым,
Дал мне взвивный прыжок, доносящий к загробьям,
Изнатужил мне легкие собственным ревом
И мне выострил клык – своей жажды подобьем!

Он рыдает во мне, словно чуя капканы
В густоте моих жил и в костей переплетах!
Он страдает во мне, нанося мои раны,
Что отсчитывал мне на безжалостных счетах!

Он со мною теряется в диких трущобах,
Он со мной поджидает скупую удачу,
Мы изгубную жизнь загоняем под обух,
Когда солнцу золотому я противозлачу!

Тебя Львом ли прозвать в поклонении робком,
Называть ли всесущим тебя Ягуаром –
Но к твоим я пытаюсь причуяться тропкам
И маню духовитого тела распаром!

Возжелай же меня кровожадною хотью!
Будет свадебный пир, тебе выкликну клич я!
Ублажу твои когти – расшарпанной плотью,
Упою своей кровью – бессмертные клычья!

А потом – изменю, напущу тебе порчи,
Искромсаю всю вечность, как дряхлую клячу, –
Чтобы чуялись Бога предсмертные корчи,
Когда солнцу золотому я противозлачу!

СИДИ-НУМАН

Этот рыцарь, чья слава Багдад облетела,
Знаменитый любовью к лилейной Эмине,
Поминает в сердцах о злосчастной године,
Как нарек себе в жены – неверное тело!

И для гнева искал подобающей стати,
И отместкой своей не хотел обомститься,
И, наслушавши пошепты древних заклятий,
Обратил ее – белой молодой кобылицей.

И еще не поняв своего инотелья,
Накровила глаза, как боец – кулачища,
И так странно волнуют – незнанные зелья,
В луговом ветерке – ей мерещится пища...

Так внезапны соблазны, и ярости вспышки,
И кипение в жилах, и заходь в чреве...
И пустилась в попляски, поскоки, попрыжки –
Но все с тем же изяществом, свойственным деве!

И богатая сбруя была златолита;
Умащал ее тело в бальзаме, елее –
И при этом глядел все надменной и злее
На обмашистый хвост и четыре копыта.

Любовался на гриву из небыли родом
И на жемчуг зубов, что рассыпан по деснам;
То подкармливать пустится клеверным медом,
То ей розу подносит – в забвенье захлестном.

А позднее, дождавшись полудневной минуты,
Когда лоно земное пыланьем подмято,
Он стоптал с себя оторопь, словно бы путы,
И воскликнул: «Аллах!» – и вскочил на бахмата!

Он понесся по улицам в гневном великом,
Становясь на скаку все багровей, тигровей.
Свои шпоры топил в набегающей крови
И молчаньем своим – был страшнее, чем рыком!

И все то, что в полете глаза ухватили,
Завертелось, как образы в зеркале вертком,
И настало обличьям, и мордам, и мордкам –
Целой жизни измглеть в золотистом распыле!

В том распыле всю память свою пораздергав,
Бился зверь, инобытия ставший добычей,
А ездок познавал в победительном кличе
Тот восторг, что сильнее любострастных восторгов!

* * *

Вы, сиявшие златом, кипевшие гневом –
Вы теперь только память о смертной истуге,
Хохоток в облаках, щебетанье пичуги,
Непотребные друзьям, немилые девам.
Для влюбленных вы стали словами обетов,
Для бездельных богов – сторожами юдоли,
Кладовыми сравнений для бедных поэтов,
Для ребенка – детьми, но не знавшими боли.
Вы – цветок-скороцветка для древнего предка,
Для воителя – битва, железо и пламя,
Для сновидца вы в грезе – пустая проредка,
Для меня – целый мир, исчезающий с вами!
А русалки, рожденные в струйчатой ясни,
Сопричаствуют вам, будто собственной басне...

ХРЫЧЕВСКАЯ БАЛЛАДА

Молотилось об землю – да сухое полено:
Отчекрыжило ногу старичку до колена.

Брел зачем-то куда-то непутевым кочевьем
И застыл возле рощи, но спиною к деревьям.

И бельмом, но краснявым зазирал старичонка,
– Ой, да-дана, да-дана! – как речьится речонка.

Извихнулась из глуби водяная девица,
Да как брызнула в бельма – аж дедуга кривится.

Ей хотелось быть нежной, и хотелось быть лютой,
И улыбнуть улыбкой, и засмучивать смутой!

И таращила глазья – изумрудные вспуги, –
Обняла его ноги – стосковалась по друге.

Целовала щекотно, целовала взажмурку, –
Ой, да-дана, да-дана! – деревянную чурку!

Хохотал он впокатку над поблазницей падкой,
Аж запрыгал по травке, аж пустился присядкой.

Аж тряслась бороденка, и подщечья, и губы,
Околачивал чурку об жемчужные зубы!

"Отчего ж ты целуешь только эту колоду?
Али брезгуешь плотью, что мне дадена сроду?"

Убирайся же к черту – бесовская утроба,
Ты, русалочья дохлядь, ручьевая хвороба!

Ой, помру я со смеху, а помру – не забуду,
Как мою деревяшку искушаешь ко блюду!"

Обхватила объятъем, окрутила, как дзыга:
"Так иди же со мною, ты, дедуля-дедыга!"

Я тебя полелею на печи из жемчужин,
Подприбойную гальку приготовлю на ужин.

Отведу я в хоромы, заживешь ты на славу,
А с губы моей выпьешь поцелуев отраву.

За бородку тянула, да за торбу бродяжью
К переглотчивым водам, что залоснились блажью.

Не успел оглянуться – волны хлещут, как плети;
Не успел помолиться – перестал быть на свете.

Заворочались воды, размешались размешью,
Да и сгнула торба с бороденкой и плешью!

Лишь чурбак переходный – деревянная рана –
Победительно выплыл – ой, да-дана, да-дана!

Мог поплыть себе прямо, мог податься не прямо,
От калечья свободный и отмытый от срама!

И хорошей дороги заискал он повсюдно,
Будто судна отломок, убежавший от судна.

Отогрел на припеке – да свою мосолыжку,
На своем отраженье затевал перепрыжку.

И не мог надивиться своему поособью –
И – да-дана, да-дана! – бултыхнулся к загробью.

СВИДРИГА И МИДРИГА

Не гарцуй, лихая лошадь, на дыбках не прыгай –
Пляшут пьяница Свидрига – с пьяницей Мидригой.

Пусть от боли под цепями зернышки не скачут –
По лужайке запивохи пятками кулачат.

Окрутила на припеке бледная Полдница,
Чтоб Свидриги и Мидриги пляской насладиться.

Заирала в очи нежно, словно бы в кормушку.
"Порешите меж собою – кто возьмет подружку?"

"Это мне, – сказал Свидрига, – грудь белее лилий!"
"Это мне, – шипит Мидрига, – а не то – могиле!"

Хвать – один ее ладошку, и другой – ладошку.
"Мы разделим полюбовно девицу-немножку!"

А она в лицо смеется, но совсем неслышно.
А она в уста им дышит, но совсем бездышно.

Разнялась на половинки – радостной прибавой –
И сестрицами предстала – левою и правой.

"Нынче каждому вдосытку – собственный отломок!
Нынче с каждым потанцуешь до глухих потемок!

Ты одна – руки четыре, и четыре ляжки!
Наповал увеселимся с этакой милашки!"

Исподлобясь перед пляской, ровно перед дракой,
Задали переполоху с девкой обоякой!

Скачут наперезадорку, кто кого почище.
Серы пыльные подметки, серы голенища.

Вот закрутка, перекрутка и опять закрутка:
Чабрецу, тимьяну жутко – и ромашкам жутко!

Тот орал: "А ну-ка, сдохни!" – а другой: "В порядке!"
Это пляска до улежки, пляска до покатки!

Так умаяли девицу в диком поединке,
Что погибли в одноразье обе половинки.

"Закопаем на погосте мы и ту, и эту:
Вместе прыгали по свету – и уйдут со свету.

Закопаем на погосте – и приветец девке:
Будет правке – отходная, отпевная – левке".

Ей одна была могила, но два разных гроба.
Эхом охнула округа – заплясали оба!

Оба сыты, оба пляшут, да с разгульной страстью,
То и дело разеваясь незабитой пастью.

Скачут, будто захотели вырыгнуть погадку, –
На присядку, на закрутку, снова на присядку!

Даже смерть пошла поскаком в пляске двоегробой,
Даже старое кладбище екает утробой!

Безначальным, бесконечным проносились кругом,
Аж подземные глубины гукали под лугом!

В голове Свидримидриги мутно от усилья,
Словно вихрем нашвырнуло на ветрячьи крылья!

И повыдуло им память с первого повева,
Где на белом свете право, где на свете лево, –

И в каком гробу какие скачут полмолодки,
И кому какие милы для любовной сходки.

Так перхает в очи тьмою вихорь-торопыга,
Что не знают, кто Свидрига, кто из них Мидрига.

Отворяется им смерти черная хорома:
"Будет вам по домовине, будете как дома!

Вон таращится загробье глазом, ровно зевом:
Для тебя, Свидрига, – правым, для Мидриги – левым!"

И попадав на коленки, заплясали живо
На коленках, на коленках – прямо у обрыва.

А потом – на четвереньках, а потом – на пузе,
Дружка дружку обнимая, а потом валтузя.

И свихрились в домовины, как ненужный сметок,
Да блеснули из пучины высверком подметок!

ПИЛА

Ходит по лесу губница, тонкая, как пилы,
Да молодчиков чарует чарами могилы.

Углядела паренечка где-то средь долины:
"Тебя алчу, сон единый – диний-мой-единный!"

Припасла я поцелуев для моей голубы,
Будут блески, недоблески – и стальные зубы!

Зачаруйся, как посмотришь на мою улыбку,
Обоснись моими снами – снами невпросыпку!

Ляг в ромашки головою, головою в маки,
Ляг со мной на знойном зное – и в лесном полмраке!"

"Загорятся мои ласки огненным раскалом,
Поцелую поцелуем свеку небывальым!

Отпихну я всех молодок, что в моей во власти, –
От любви они слезятся, словно от напасти.

Мне примериться бы плотью к этой новой плоти,
Запурпуриться губою для кровавой хоти!

Чтобы нам с тобой друг дружку не любить по-разну,
Я на зубьях, я на зубьях трепетом увязну!"

Скрежетнула упоенно, разострила зубки:
"Это – счастье, это счастье – слаще лесорубки!"

А над ними золотисто вербы зашептали –
Да зазнал прикосновенья распаленной стали.

Что уже отцеловала – пилит вполовину:
"Много душ для замогилья из тебя я выну!"

Разлобзала, раскромсала, хохотнула с прыском:
"Вам счастливого посмертья, крохоткам-огрызкам!"

А потом в чужие страны зашвырялась плотью:
"Нынче Боженька рачитель смертному ошметью!"

Те собратся бы хотели в преждебывшем теле,
Да узнать один другого больше не умели.

Поначалу из пылици заморгало веко –
Было то морганье века, но не человека!

Голова, что ищет шею, катит вдоль запруды,
Словно тыква на базаре выпала из груди.

Горлом, что ему досталось, яр отъемно дышит,
Ухом, вздернутым на ветку, верба что-то слышит!

Пара глаз, лишенных блеска, тухнут поедину:
Тот вкатился в муравейню, этот – в паутину.

Та нога пошла присядкой у лесных закраин,
А вторая в чистом поле ходит, как хозяин.

А рука, что над дорогой в пустоту воздета,
На прощание кому-то машет без ответа!

ЗЕЛЕНЬ ЖБАН

То не паладины – трупы средь равнины!
Трупы средь равнины – это паладины!
Не для них – напев ручьевый,
Сторонятся их дубровы,
Мчится к ним, искря подковы,
Только вихрь единый.

Булькает снежница – и весна стучится.
Трупы из халупы видела девица –
И выносит ниоткуда
Жбан зеленый, где остуда
На горячее на худо,
Что спекает лица.

Стопы мои босы, да сверкают косы –
Золотоволосы ваши водоносы.
Ради горечи соленой,
Вкусом смерти разъявленной,
От рассвета в жбан зеленый
Собирала росы.

Воду выпьем все мы – но пребудем немы,
Мы в крапивах сивых никому не вемы.
 Нам теперь земляца – ровней,
 Так безгрешней и бескровней,
 Но хотим дознаться, что в ней,
 И дознаться – где мы.

Молвят паладины: наш трофей единый –
Смертные тишины – да твои помины.
 А когда собьешь нам сани
 Для навечных зимований –
 Положи нам на кургане
 Венчик из калины.

А всего смятенней в суতোлке теней,
Кто во мраке маки клал мне на колени.
 Пусть насытится прохладой,
 Снова, снова станет младый,
 На меня глядит с отрадой
 Из-под смертной сени!

Не переупрямить лет глухую заметь,
Уж давно бы в гробы – и пора доямить!
 Помню, маки мне пылали,
 А была ты, не была ли,
 По тебе мои печали –
 Это уж не в память!

У небес ланиты ливнями омыты,
В травах и в муравах жбан лежит разбитый,
 А среди осколков глины
 Почивают паладины,
 И летит к ним ветер единый,
 Пылью перевитый!

ГОРБАЧ

Горбач помирает не втуне,
Предосенье горем калеча.
И жизнь у него – из горбуний,
И смерть у него – горбоплеча.

В дороге, где хмарей заплеты,
Он понял чудную приметку:
Всего-то и вышло работы –
С горбиной таскаться по свету.

Горбом и плясал он, и клянчил,
И думал над старью и новью,
Его на спине своей нянчил
И собственной выпоил кровью.

Покорная тянется шея
Ко смерти под самую руку...
Лишь горб, нагорбев и большея,
Живет, набирается туку.

На время упитанной туши
Верблюда он пережил в мире;
Тому – все темнее и глуше,
Другому – небесные шири.

И горб на останки верблюда
Грозится своею колодой:
"Вставай, долежишься до худа,
С моею поспорив породой!

Иль доброй те надобно порки?
Иль в дреме затерпнули ноги?
Иль брал ты меня на закорки,
Чтоб сбиться на полудороге?

Чего ж утыкаешься в тени?
Спины твоей тесны тесноты.
Спросил бы тебя, телепеня,
Куда меня двинешь еще ты!

ВЕЧЕРОМ

Не в пору было, не в пору:
Потемки крались по бору.
Дневной испарился жар,
Роса родилась из хмари,
И мраком дымились яр,
Калина – в яре.

Не с юга пришла, не с юга
Та темень – проклятье луга.
А холод нагнал тоску
На снулые ароматы –
Ладонь к моему виску
Погреть несла ты.

Кто дорог, лишь тот, кто дорог,
Поможет глядеть на морок.
Затеряных где-то нив
Не соединит заклятье,
Ни ужас, ни боль, ни срыв,
Но лишь – объятье!

ДВА ЧЕЛОВЕШКА

Звенится мне песня – захлипа, испуга, –
Как два человечка любили друг друга:

Шептали признанья, и брались за руку,
И первый же шепот накликал разлуку.

Развел их надолго неведомый кто-то,
А время уплыло – и без поворота.

А встретясь – и руки сплетая в привете,
Болели так страшно, как страшно на свете!

Под явором – тени, под явором – ложка,
Где сникла надежда, сердец не тревожа.

И умерли оба без ласки, без блуда,
Единого смеха, единого чуда.

И траур бескровил в своем фиолете
Им губы так страшно – как страшно на свете!

Они миловаться хотели в могиле,
Но нежность погибла, ее пропустили.

Бежали к недолге и, став у порога,
Хотели молиться – но не было Бога.

Хотели, домучась до мая, до лета,
Воскреснуть – но не было Божьего света.

КЛЕОПАТРА

В павильоне, в сколоченной наспех скорлупке,
Онемевшие статуи лоснятся воском;
И какое число нежилцам-безголовкам,
Столько смерти сгущается в солнечной крупке.

И у тел – аромат поминальной лампадки,
И в пурпурных нарядах запряжены кокон,
Что похож на мундир крутовойной загадки,
Выдающий гордыню любим из волокон.

И они на глазах у захожего люда
Бесконечно вершат, в покаянной работе,
И свое злодеянье, и дивное чудо,
Что, извергнуто смертью, извергнет из плоти.

И купаются в солнце, и пробуют силы –
Потому что к житью их изгнали из теми,
Богадельню воскресших, любимую всеми,
Кто покуда своей не увидел могилы!

И когда посетитель встает на пороге,
То они оживают от досок просеста –
И пугаются дети, и тешатся боги,
Коим любо все то, что не вправду, а – вместо.

И царица Египта уснула без звука,
И стеклянного гроба просторность излишня;
На груди ее рана, как страшная вишня,
И в ладони букет, а в букете – гадюка.

Столько раз ее веко на мир отворится,
Сколько раз обслюнявлена ядом гадюки, –
Словно это смертей упоенная жрица
К своей гибели тянет привычные руки.

Рядом смерть ее вьется, как верная мурка,
Что прислушлива к шепотам, под ноги льнуча;
И умерших очей в бесконечность зажмурка –
Все равно, что для нас – мимолетная туча.

Я люблю это тело, в котором застыли
Чары ста воскресений и ста усыпален –
И еще что-то сверх, чего ведать не в силе
Дух, что только единожды гибелью свален.

Эту руку, что тянется к ласкам гадючьим,
И линиялого ногтя багрянку могилью;
Воздыханье, что собственным сыто беззвучьем,
И передние зубы, скверненные пылью.

И на сотню чудес размахорено платье,
И себя самого вопрошаю что день я,
Иль готов это тело усердней ласкать я
В час его умиранья – иль в час воскрешенья?

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Мы впервые за гробом! Трухлявы ворота...
Поцелуй этот куст, как в минувшие дни.
Если ты сохранила от прошлого что-то,
Ободри, обнадежь – и рукою взмахни!

Но развеяны дочиста прежние взмахи,
И увидевший нас – разглядит лишь золу.
Наши смехи и плачи заглохли во прахе,
Наши дни угнездились в паучьем углу...

Если ты умерла, значит, гнилью ослизни,
Уступи этот мир соловью, муравью –
И поплачь оттого, что застольники жизни
Видят вздрогны звезды – но не муку твою.

ЗАПОЗДАЛОЕ ПРИЗНАНИЕ

Я люблю твоей радостью поднятый гам
И твоими глазами увиденный взгорок;
Мне так дорог твой смех, что не ведаю сам,
Как же раньше он был не знаком и не дорог.

Заскрипит в половицах, застонет в саду –
Мне шаги твои чудятся в скрипе и стоне,
И бросаюсь к тебе, и тебя не найду,
И мерещатся мне то уста, то ладони.

Набухает слезами небесная высь –
И взывает к тебе, и дозваться не в силе...
Ты сюда не вернись, никогда не вернись –
Но молись обо всех, кто тебя не любили!

Марк ТВЕН

Янки из Коннектикута при дворе короля Артура (ФРАГМЕНТЫ ИЗ РОМАНА)

Перевод Игоря Ильина и Александра Кальниченко

Пояснительное слово

Будучи на экскурсии в замке Уорвик, я встретился с одним весьма примечательным незнакомцем, о коем и пойдет мой рассказ. Меня в нем привлекли три черты: ненапускное простодушие, поразительная осведомленность в старинном вооружении и лёгкость в общении с ним, поскольку без умолку говорил он один. По своей природной скромности мы плелись в хвосте любопытствующего стада туристов, ведомых по замку, где, едва открыв рот, он начал говорить странные вещи. Речь его, все более плавная, связная и даже изысканная, все далее неуловимо уносила его из нашего времени в мир прошлого, и, в конце концов, он околдовал меня настолько, что я и сам как будто оказался в плену восставших из праха и окруживших меня призраков и теней минувшего, и вот я беседую с кем-то из них! Равно как я упоминал бы в разговоре своих ближайших друзей, так он вел речь о сэре Бедивере, сэре Борсе де Ганисе, о сэре Ланселоте Озерном, о сэре Галахаде и прочих славных рыцарях Круглого Стола, и чем дольше он говорил, тем более старым, старым-старым, неописуемо старым и выцветшим, иссохшим и древним казался он сам! Внезапно он прервал свое повествование и, обернувшись ко мне, сказал так просто, как другие говорят о погоде и прочих обычных вещах:

— Вы, конечно, слышали о переселении душ, а вот доводилось ли вам сталкиваться с перенесением тел, э-э-э, из одной эпохи в другую?

Я признал, что не доводилось. Впрочем, мой ответ интересовал его не более, чем иных интересует погода – скорее все-

го, он даже не расслышал, что я сказал. Тем не менее, в наступившей минутной паузе послышался усыпляющий голос штатного чичероне:

— Кольчуга шестого века, времен короля Артура и Круглого Стола... по преданию, принадлежала сэру Саграмуру Желанному... небезынтересно идеально круглое отверстие меж петлями кольчуги с левой стороны... по предположению, произведено уже огнестрельным оружием... как полагают, в результате акта вандализма со стороны кого-либо из солдат Кромвеля...

На это мой знакомый только хмыкнул с ухмылкой, какой, видно, ухмылялись столетия назад, и пробормотал про себя:

— Уж кому, как ни нам было зреть сей отвор совершенным, — и, подумав, добавил, — когда эту дырку сделал я сам, этой самой рукой.

Пока я приходил в себя от электрического шока, произведенного его замечанием, его уж и след простыл.

Весь вечер я просидел у камина в гостинице «Уорвик Армс», погружившись в грезы о делах минувших дней, пока по окнам барабанил дождь и по всем закуткам завывал ветер. Время от времени мой взгляд скользил по раскрытым страницам собрания старинных легенд сэра Томаса Мэлори, и тогда я упивался пиршеством невероятных чудес и подвигов, что представляли перед моим мысленным взором, вдыхал изысканный аромат давно исчезнувших имен, и снова погружался в грезы. Было уже далеко за полночь, когда на сон грядущий открыл я очередное сказание, каковое и выношу здесь на ваш суд.

О том, как сэр Ланселот сразил двух великанов и освободил замок

Вот выходят на него два огромных великана, все закованные в латы, только головы без шлемов, и в руках у обоих по ужасной палице. Сэр Ланселот загородился щитом и отвел удар палицы одного великана, а сам мечом своим пополам раскрыл ему голову. Увидел смерть товарища второй великан и бросился бежать, словно безумный, а сэр Ланселот что было мочи — за ним, ударил его по плечу и рассек ему туловище до самого пупа. После того вошел Ланселот внутрь замка, и явились к нему шестьдесят дам и девиц, они все опустились перед ним на колени и благодарили Господа Бога и его за спасение.

— Ведь почти все мы, — сказали они, — вот уже семь лет содержимся, здесь в неволе, мы шили шелками и исполняли

всякие рукоделия за прокорм, а мы ведь высокого и благородного происхождения. Пусть же будет благословен тот час, о рыцарь, когда был ты рожден на свет, ибо ты свершил подвиг, какого ни один рыцарь на земле еще не совершал, и все мы тому свидетели. Мы просим вас открыть нам ваше имя, чтобы мы могли назвать нашим родичам и близким того, кто избавил нас от неволи.

– Прекрасные дамы, – отвечал он, – мое имя – сэра Ланселот Озерный.

– О сэра, – вскричали они все, – кем же и быть вам, как не сэром Ланселотом, ведь кроме него, мы полагаем, ни один рыцарь не совладал бы с этими великанами, ибо многие славные рыцари пытались их одолеть и все нашли здесь свою погибель. Сколько раз мы тут мечтали о вашем появлении. И те два великана боялись изо всех рыцарей только вас.

– Так и скажите вашим близким, – промолвил сэра Ланселот, – и передайте им всем от меня поклон; если же случится мне заехать в ваши края, окажите мне прием, какой почтете справедливым. А какие есть богатства в этом замке, отдаю их вам за все те лишения, что вы претерпели. Лорд же владелец этого замка пусть получит его назад, как причитается ему по праву. – Любезный сэра, – сказали они, – замок этот называется Тинтагиль, некогда владел им один герцог, который женился на прекрасной Игрейне, а она потом стала женой Утера Пендрагона и родила ему Артура.

– Ну что ж, – сказал сэра Ланселот, – теперь я понял, кому принадлежит этот замок.

И он покинул их, поручив их милости Божией.

И, сев на коня, он поехал своей дорогою, через дальние чужие края, через реки и доли, на ночлег останавливаясь где придется. Наконец посчастливилось ему оказаться к исходу дня у богатого двора, а там жила старушка, и она приняла его с великим радушием на постой и ночлег, накормила, напоила и коня его не забыла. А пришло время, и отвела его благородная женщина в наворотный покой, где была приготовлена ему постель. Там снял сэра Ланселот с себя доспехи, подле себя их сложил, лег в постель и в скором времени крепко уснул.

А ночью кто то на коне прискакал туда, стучится торопливо в ворота. Услышал то сэра Ланселот, встал с постели и в окно выглянул. И видит при лунном свете, как трое всадников нагнали у ворот одного и с мечами на него бросились. А тот рыцарь против них повернулся и мужественно от них защи-

щается.

– Клянусь, – сказал себе сэр Ланселот, – этому одинокому рыцарю приду я на помощь, ибо позор мне смотреть, как трое нападают на одного, и если его убьют, то и на меня ляжет вина в его смерти.

С тем облачился он в доспехи, вылез из окна и по простыне спустился прямо к четверем рыцарям. И воскликнул сэр Ланселот:

– Обернитесь, вы, рыцари, и сражайтесь со мной, а этого рыцаря оставьте в покое!

И тогда они все трое оставили сэра Кэя, оборотились против сэра Ланселота и стали со всех сторон на него наседавать. Изготовился сэр Кэй прийти на помощь сэру Ланселоту.

– Нет, нет, сэр, – вскричал тот, – я не нуждаюсь в вашей помощи. И потому если хотите, чтобы я вам помог, то дайте мне одному с ними управиться.

И сэр Кэй в угоду славному рыцарю поступил по его воле и отъехал в сторону. И сэр Ланселот семью ударами поверг их наземь. Тут вскричали они все трое:

– Сэр рыцарь, мы сдаемся вам как мужу мощи несравненной!

– Ну, что до этого, то я меча вашего не приму, вы сдайтесь вот этому рыцарю. На таком условии я сохраню вам жизнь, иначе же – нет.

– Благородный рыцарь, ваше условие нам вовсе не по душе, ведь что до этого рыцаря, то мы гнались за ним, тут его настигли и одолели бы, когда бы не вы. И оттого сдаваться ему нет у нас причины.

– Что ж, дело ваше, но подумайте хорошо, прежде чем выбирать между жизнью и смертью. Ибо если вы сдадитесь, то только сэру Кэю.

– Тогда, о благородный рыцарь, – сказали они, – чтобы спасти себе жизнь, мы сделаем так, как ты нам велишь.

– В таком случае, – сказал сэр Ланселот, – в будущую Троицу отправляйтесь ко двору короля Артура и там поклонитесь королеве Гвиневере, поручите себя все трое ее милости и власти и скажите ей, что вас шлет к ней пленниками сэр Кэй.

– Сэр, – сказали они, – так все и будет сделано, клянемся телом и душой, если только будем мы живы.

И каждый из них поклялся в том на своем мече, а после этого сэр Ланселот их отпустил. Потом постучал сэр Ланселот в ворота рукоятью меча своего, на стук вышла хозяйка и впу-

стила их обоих, его и сэра Кэя.

– Сэр, – говорит почтенная женщина, – я думала, что вы в постели.

– Я и был в постели, но потом я встал и выпрыгнул в окно, чтобы помочь моему старому товарищу.

А когда приблизились они к огню, узнал и сэр Кэй сэра Ланселота; он упал перед ним на колени и благодарил его за все добро, что он ему сделал, дважды спасши его от смерти.

– Сэр, – отвечал тот, – я делал только лишь то, что велел мне долг. А вам добро пожаловать, здесь сможете вы отдохнуть эту ночь.

Сэр Кэй снял с себя доспехи и попросил есть. Принесли ему еды, он наелся до отвала, и, когда он насытился, отправились они оба спать и в ту ночь спали вместе в одной постели.

А поутру поднялся сэр Ланселот рано и оставил сэра Кэя спящим. Он взял доспехи сэра Кэя, щит его и оружие, облачился и вооружился. Пошел в конюшню, оседлал коня и, простившись с почтенной хозяйкой, ускакал прочь. А вскоре после того пробудился и сэр Кэй, хватился – нет сэра Ланселота, а нашел он взамен его доспехи и коня.

– Клянусь, достанется, от него теперь кое-кому при дворе короля Артура. Ведь рыцари станут обращаться с ним дерзко, полагая, что это я. И жестоко обманутся. А я благодаря его щиту и доспехам смогу теперь, я уверен, ехать спокойно.

И с тем сэр Кэй поблагодарил хозяйку и уехал.

Не успел я отложить книгу, как раздался стук в дверь и вошел мой давешний незнакомец. Я предложил ему трубку и кресло и оказал самый радушный прием. Дабы он полностью чувствовал себя как дома, я плеснул ему старого доброго шотландского виски, потом еще и еще, питая надежду услышать его историю. Четвертый стакан возымел убедительное действие, и он заговорил сам, простым, естественным языком.

Рассказ незнакомца

Я – американец. Родился и вырос в Хартфорде, в штате Коннектикут, для пущей ясности – сразу за рекой, можно сказать, в захолустье. Так что, я до мозга костей янки, янки из янки, то есть, человек практичный; возвышенных чувств, как говорится, лишенный, всякой поэзии чужд. Отец мой был кузнецом, дядя врачевал лошадей, и я по малолетству подсоблял обоим. Потом я устроился на оружейный завод Кольта и там

усвоил уже настоящее ремесло, что называется, от «собачки» и до «мушки», и наострился мастерить хоть ружье, хоть револьвер, хоть пушку, хоть паровой котел, а хоть и сам паровоз – одним словом, все, что называют механикой, сберегающей трудовые затраты. Не было ничего такого, из чего при необходимости я не мог бы сделать что-то стоящее, и если была в том нужда, но не было известного способа, я сам изобретал способ как бы это сделать с такой же легкостью, с какой бревно можно скатить под укос. Так я дослужился до старшего мастера, и под моим началом работало уже две тысячи человек.

Само собой, такая должность требовала бойцовских качеств. Когда у тебя под началом две тысячи задиристых удальцов с кулаками, что твоя кувалда, то рукоприкладных развлечений хоть отбавляй. Не минули они и меня. И вот попался мне как-то достойный соперник, и я получил свое. Вышло у нас недоразумение с парнем по прозвищу Геркулес, которое мы попытались разрешить с помощью подручных средств. Он съездил меня по макушке лапчатым ломом, да так, что в ушах раздался треск, и все косточки на черепушке вначале разошлись по швам, а потом сошлись, наезжая друг на дружку. Свет потух, и больше я себя не ощущал, во всяком случае, до поры до времени.

Когда я очнулся, то обнаружил, что сижу на травке под дубом; передо мной расстилается прелестный деревенский пейзаж, а вокруг ни души. Или почти ни души – в двух шагах от меня верхом на лошади присутствует в этом пейзаже некий детина, и глазееет на меня сверху вниз, при этом выглядит он так, словно его вырезали из книжки с картинками. С головы до пят он закован в средневековые доспехи, на голове у него шлем, что смахивает на железный бочонок с прорезьями; в руках, само собой, щит и меч, а также сказочной длины копье; лошадь, под стать ему, тоже вся в броне, причем на лбу у нее торчит стальной рог; пышная, красная с зеленым попоном с шелковой бахромой свисает как постельное покрывало, едва ль не до самой земли.

— Угодно ли благородному сэру, — спрашивает меня детина...

— Чего-чего угодно?

— Сразиться из-за земельных угодий, из-за дамы сердца, или же...

— Ты меня уже сразил, — говорю, — скакал бы ты обратно к себе в цирк, или дальше будешь объясняться уже в полиции.

Но объясняться дальше он не стал, а действительно, отскакал подалее, ярдов эдак на двести, развернулся, пригнул голову в бочонке к лошадиной холке, выставил вперед копые и во всю прыть понесся прямо на меня. Тут я смекнул, что с этим парнем шутки плохи, и пока он доскакал обратно, я сидел уже высоко на дереве.

В ответ он признал меня своей собственностью, поскольку его собственностью было копые, а я был пленником его копья. Его доводы показались мне достаточно вескими, тем более что на его стороне были все преимущества, поэтому я счел за благо не перечить ему. Мы заключили с ним мировую, по которой я должен был следовать за ним, а он за это не должен был меня обижать. За сим, я спустился с дерева, и мы тронулись в путь: он верхом, а я – трусцой, о бок его коня. Так неспешно мы двигались то полем, то лугом, то через ручей, а я все удивлялся, отчего никогда прежде я ничего подобного не замечал; более того, как я ни крутил головой, нигде поблизости не видать было и намёка на заезжий цирк. Поэтому, я отбросил нелепые мысли о цирке и стал задумываться: а не сбежал ли часом мой нечаянный знакомый из сумасшедшего дома? Но ничего похожего на скорбное заведение по ходу тоже не мелькало, и я почувствовал, что почва уходит у меня из-под ног. Уже хватаясь за соломинку, я спросил «далеко ли до Хартфорда?». Он ответил, что о таком и слухом не слыхивал, и я уж было решил, что он «заливает», но не осмелился пререкаться с ним. Спустя час вдали показался город в долине извиистой реки; на высоком холме над городом раскинулась серая крепость с башнями и бастионами, и внезапно я осознал, что вижу такую впервые в жизни — наяву, а не на картинке.

— Бриджпорт? – с надеждой спросил я, указывая вдаль рукой.

— Камелот, — только и сказал он.

Мой незнакомец уже заметно клевал носом. Пару раз он спохватывался и, наконец, улыбнулся своей трогательной, как бы извиняющейся, словно пришедшей из глубины веков улыбкой, и взмолился:

— Рассказывать дальше нет мочи; однако, идемте ко мне; у меня все записано, захотите – прочтете.

Уже в своей комнате он добавил:

— Поначалу я вел дневник, но со временем, и на это ушли

годы, переработал его в книгу. Как же давно это было!

Он передал мне рукопись и указал место, с которого следует начать.

— Начните отсюда. Все, что случилось до того, я вам уже рассказал.

Дрёма совсем разобрала его. Когда я выходил за дверь, то услышал, как он пробормотал уже во сне:

— Опочивайте в мире, благородный сэра...

Я сел у камина и принялся разглядывать свое сокровище. Первая, она же большая, часть рукописи, была сделана на пергаменте, пожелтевшем от времени. Тщательным образом я изучил один листок, и удостоверился, что это палимпсест. Из-под старых, неразборчивых строк, выведенных рукою нашего историка-янки, проступали еще более древние и неразборчивые латинские слова и фразы, по всей видимости, фрагменты старинных монашеских летописей. Я вернулся к месту, указанному незнакомцем, и стал читать. И вот что я прочел.

Глава IX ТУРНИР

Турниры в Камелоте устраивались по поводу и без повода; в чем-то они были азартны, в чем-то живописны, а в чем-то и нелепы, напоминая бой быков, но только без самих быков; у тех же, кто во всем привык находить практическую пользу, они вызывали зевоту. Тем не менее, по мере сил я старался их не пропускать по двум причинам: нельзя держаться в стороне от коллектива в тех увлечениях, что ему по нраву, особенно когда и сам ты должен быть по нраву коллективу, будучи государственным деятелем; а, кроме того, как государственным деятелем и бизнесменом, турниры меня интересовали с деловой точки зрения: нельзя ли из них извлечь практическую выгоду путем, например, изобретательства и рационализации. К слову должен заметить, что едва ли не первым же актом моей администрации было учреждение Бюро патентов, ибо я был убежден: страна, где нет Бюро патентов и нет законов против тех, кто попирает авторское право, подобна крабу, чьи пути исповедимы: лишь вбок или назад.

Все шло своим чередом, турниры проводились чуть не каждую неделю; и чуть не каждую неделю самые заядлые ребята (я имею в виду сэра Ланселота и прочих) подбивали меня испытать, на что я гожусь, но я всякий раз отнекивался: то,

мол, не к спеху, то недосуг из-за того, что, дескать, на ком как не на мне лежит вся смазка да наладка громоздкой государственной машины, которую вот-вот пора запускать в ход.

Как-то раз выдался у нас турнир, который продолжался от зари и до зари неделю кряду если не больше, а рыцарей на него понаехало человек пятьсот, начиная от самых именитых и заканчивая всякой безродной мелюзгой. Они и собирались-то не одну неделю. Верхом на лошадях прибывали они со всех уголков страны и даже из-за моря; многих сопровождали дамы, всех поголовно – оруженосцы, а помимо прочего – еще и орды слуг. Отличительными признаками всего этого сборища были чванство и пышность одной стороны, а именно костюмерной, что было вполне в духе времени; а также здоровая игривость, невинная непристойность в речах и блаженное неведение моральных устоев – с другой, что также было свойственно той же стране в тот же час. Целыми днями напролет они либо дрались, либо смотрели, как дерутся другие, а с наступлением сумерек пели, пили, плясали и резались в азартные игры, и так до полуночи. В общем, предавались самому благородному времяпрепровождению. Станный то был народ. На зрительских скамьях во всем великолепии варварских одежд восседали прекрасные дамы, наблюдая за тем, как некий рыцарь слетает с коня, будучи насажен на копьё толщиной, что твоя лодыжка; из него вовсю хлещет кровь, а им хоть бы хны: они не только не падали в обморок, но еще и хлопали в ладоши да лезли друг за дружку для лучшего обзора; лишь изредка одна из них прикладывала к глазам платочек и принимала скорбный вид, и тогда можно было ставить два к одному, что без сердечных дел тут не обошлось, и она боится, как бы публика не оставила их без внимания.

Шум по ночам в обычных условиях вызывал во мне раздражение, но сейчас я был даже рад ему, поскольку он как-то заглушал визг пил, коими шарлатаны от медицины отделяли ноги и руки у жертв древних ристалищ. Они вконец затупили мою на редкость добрую старую пилу и ухитрились даже сломать рукоятку, но я уже махнул на них рукой, решив про себя, что если эти горе-хирурги покусаятся еще и на мой топор, то надо проситься обратно в родное столетие. Изо дня в день я не только наблюдал за турниром сам, но и подыскал у себя в департаменте общественной нравственности и земледелия толкового монаха и поручил ему составить о турнире отчет, ибо со временем, как только я дам народу образование,

я намеревался еще и выпускать газету. Первое, чем вам нужно заняться в новой стране, это бюро патентов, затем школьным образованием, и, наконец, газетой. У газеты есть свои недостатки, их даже немало, но газета, как говорится, и мертвого подымет; сие можно отнести и к мертвым, то бишь, исчезнувшим народам. Запомните, нет лучшего способа сохранить жизнь мертвому народу, чем газета. Из этих соображений я и решил поглядеть, какого сорта репортаж напишут мне в шестом веке – а вдруг пригодится.

Что ж, для своей эпохи и талантов, мой монах справился недурно. Он дотошно описал все мельчайшие подробности, что для колонки местной хроники как раз то, что нужно – в свое время он, видите ли, вел бухгалтерскую отчетность в похоронном отделе родного прихода, а там, сами понимаете, мелочей не бывает – в приходе за любой мелочью стоит доход: носильщики, массовка, свечи, молитвы – все вносится в счет; и если, паче чаяния, безутешные родственники не покупаются на молитвы, всегда можно удвоить цифру в графе «свечи» — и счет опять радуется глаз. Кроме того, то тут, то там он удачно вставлял тонкую лесть тому из рыцарей, кто в дальнейшем мог разместить у нас рек..., я имею в виду, пользовался влиянием при дворе; и в довершение, он обладал недюжинным даром преувеличений, недаром он подвизался в привратниках у некоего благочестивого отшельника, который даром, что жил в хлеву, а творил чудеса.

Разумеется, в отчете моего новобранца недоставало смачных слов и выражений, коими так сильна нынешняя журналистика, всех этих «хрясь», «бабах» и «вжик», чтоб он зазвенел, как чистая монета, зато старинный слог был причудлив, безыскусен, по-своему мил и приправлен пряностями своей эпохи, что скрашивали куда более крупные недочеты. Вот выдержка из этого репортажа:

«... Тогда сэр Брайэн де-лез-Айлс и Груммор Грумморсум, придворные рыцари, съехались с сэром Эгловэлом и сэром Тором, и сэр Тор сбросил Груммора Грумморсома на землю. Тут выехали сэр Карадос из Печальной Башни и сэр Торквин, придворные рыцари, и съехались с сэром Персивэлом де Галис и сэром Ламораком де Галис, двумя братьями; сэр Персивэл бился с сэром Карадосом, и оба сломали свои копыя, а сэр Торквин бился с сэром Ламораком, и оба рухнули на землю вместе с конями, но им пришли на помощь и снова усадили их в седла.

Сэр Арноль и сэр Гогер, придворные рыцари, съехались с сэром Брэндайлом и сэром Кэем; эти четыре рыцаря бились яростно и вышибли копья друг у друга из рук. Затем выехал сэр Пертолоп, зеленый рыцарь, сбросил с коня сэра Лайонела, брата сэра Ланселота. Благородные герольды объявили его победителем и восславили его имя. Затем сэр Блерборис преломил свое копье о сэра Гаретта, но сам не выдержал силы своего удара и рухнул наземь. Увидев его, сэр Галиходин бросил вызов сэру Гарету, но сэр Гарет и его поверг наземь. Тогда сэр Галихуд поднял копье, чтобы отомстить за своего брата, но сэр Гарет поверг и его, и сэра Дайнадена, и его брата ля Кот-Мэл-Тэла, и сэра Саграмора Желанного, и сэра Додина-са Свирепого; он всех их поразил одним копьем. Глядя на сэра Гарета, король Эгвизенс Ирландский не переставал дивиться: только что этот рыцарь был зеленым, а сейчас вдруг стал голубым. Перед каждым следующим поединком сэр Гарет одевался в другие цвета, и ни король, ни рыцари не могли сразу узнать его. И вот сэр Эгвизэнс, король Ирландии, съехался с сэром Гаретом, и сэр Гарет сбросил его с коня вместе с седлом. Тогда на бой выехал король Карадос Шотландский, и сэр Гарет поверг наземь и его самого и его коня. Так же он поступил и с королем Уриэнсом из Страны Гор. Тогда выехал сэр Багдемагус, и сэр Гарет поверг наземь и его самого и его коня. Затем Мелиганус, сын Багдемагуса, отважно и рыцарственно сломал свое копье о сэра Гарета. И тогда сэр Галахолт, благородный принц, громко возгласил: «Многоцветный рыцарь, ты сражаешься хорошо, но приготовься, ибо я собираюсь сразиться с тобой!» Услыхав это, сэр Гарет сменил свое копье на более длинное, и они стали съезжаться, и принц направил на него копье, но сэр Гарет с такой силой ударил его по левой стороне шлема, что он покачнулся и упал бы, если бы его не поддержали служители. «Воистину, — сказал король Артур, — этот рыцарь многих цветов — славный рыцарь». И король подозвал к себе сэра Ланселота и попросил его сразиться с этим рыцарем. «Сэр, — сказал Ланселот, — мое сердце подсказывает мне, что сегодня я должен воздержаться от боя с этим рыцарем, ибо этот рыцарь сегодня довольно потрудился, а когда славный рыцарь совершил за день столько подвигов, не подобает другому славному рыцарю отнимать у него заслуженную честь, особенно после стольких трудов, понесенных им, ибо, может быть, дама, которую он любит, предпочитает его соперника, и, может быть, он собрал последние

силы, чтобы совершить эти великие подвиги; и вот почему, — продолжал сэра Ланселот, — я желаю, чтобы сегодня вся честь досталась ему, и я не стану лишать его чести, хотя и мог бы это сделать».

Тот день омрачило одно неприятное событие, которое я из государственных соображений вычеркнул из отчета моего дьячка. Как вы, безусловно, заметили, больше всех в этом побоище сражался Гарри. Говоря «Гарри», я, конечно, имею в виду сэра Гарета. Я называл его просто Гарри, и это, верно, наводит вас на мысль, что я к нему очень приязненно относился — что ж, так оно и было. Стоит заметить, что это уменьшительно-ласкательное прозвище я никогда не произносил в присутствии посторонних и тем более его самого; он был вельможа и ни за что не стерпел бы от меня подобной фамильярности. Впрочем, продолжу. Я сидел в отдельной ложе, предоставленной мне как королевскому министру. Сэр Дайнаден, ожидая своей очереди, заглянул ко мне поболтать; его так и тянуло ко мне, ведь я был при дворе новым лицом и потому представлял собой новый рынок для сбыта его острот, до того несвежих и затасканных, что над ними смеялся один лишь рассказчик, а остальных — попросту воротило. Я старался быть с ним поласковее — мне он был по душе уже потому, что даже если он и знал одну ненавистную мне житейскую историю, что набила оскомину больше других, он, по крайней мере, мне ее не рассказывал. Случай этот приписывается каждому весельчаку, чья нога хоть раз ступала на берега Америки — от Колумба до Артемиса Уорда. Суть его заключается в том, что некий проповедник-шутник битый час без умолку травил для паствы анекдоты, но в ответ ему никто даже не улыбнулся, а когда он уже уходил, несколько седовласых простаков с благодарностью пожали ему руку, признав, что ничего смешнее им слышать не доводилось и «в течение всей проповеди они едва удерживались от смеха». Так вот, никогда еще эта история не была рассказана к месту, и, тем не менее, за свою жизнь мне пришлось выслушать ее сотни, если не тысячи, а то и миллионы, и миллиарды раз, и плакать, слушая, и проклинать весь белый свет. Нетрудно теперь понять, что почувствовал я, когда этот бронированный осел принялся рассказывать мне ее в мрачных сумерках седой старины, на заре истории, когда даже про Лактанция можно было сказать «недавно почивший Лактанций», а до появления крестоносцев

оставалось еще добрых пять сотен лет. Едва он кончил, как вошел мальчишка звать его на турнир. С дьявольским смехом, грохоча и позвякивая, как корзина с железным ломом, он вышел из ложи, а я потерял сознание. Очнулся я лишь несколько минут спустя и открыл глаза как раз в то мгновение, когда сэр Гарет нанес тому ужасающий удар; я обронил в сердцах: «Господи, хоть бы ему конец!» К несчастью, прежде чем я успел договорить, сэр Гарет обрушился на сэра Саграмора Желанного и просто снес того с лошади; падая, тот краем уха услышал мое пожелание и принял его на свой счет.

Если уж эти люди вобьют себе что-то в голову, их не переубедишь. Я это прекрасно знал, и оставил свои объяснения при себе. Едва поправившись, сэр Саграмор бросил мне вызов, желая свести со мной счеты, и назначил день – через три или четыре года, и место для поединка – то самое злополучное ристалище. Я согласился ждать его возвращения. Все дело в том, что он отправлялся на поиски святого Грааля. Все они время от времени отправлялись его искать. Путешествие это занимало обычно несколько лет. Отправившись в путь, они долго блуждали самым добросовестным образом, поскольку ни один из них понятия не имел, где же, собственно, находится этот Грааль. Мне думается, они и не чаяли его найти и если бы случайно на него и наткнулись, не знали бы даже, что с ним делать. Видите ли, это было подобно нашему Северо-Западному проходу. Экспедиции граальщиков выезжали в путь каждый год, а на следующий год отправлялись новые экспедиции на поиски ушедших. В таких походах можно было ославиться, но не заработать. И они еще звали меня с собой! Мне оставалось только тихонько посмеиваться.

Глава XIV ЗАЩИЩАЙТЕСЬ, ЛОРД!

За завтрак я заплатил целых три пенни, что по тем временам было баснословно щедро с оглядкой на то, что за эти деньги можно было накормить целую дюжину таких, как я, но я всегда поступал расточительно, одолеваемый благодушием, тем более, что эти люди вовсе не рассчитывали получить с меня хоть что-нибудь за свою пищу, какой бы скудной она ни была; с тем большим удовольствием я подкрепил мою признательность и искреннюю благодарность денежным подспорьем, тем более, что деньги эти, находясь у них, могли принести гораз-

до больше пользы, чем болтаясь в моем шлеме, ибо надо помнить, что пенни в те времена изготавливались из железа, и мелочь на полдоллара, которую я захватил с собой, была весьма тяжелой ношей. Признаться, в те дни я вообще был слишком расточителен. Отчасти это объяснялось тем, что, несмотря на долгое пребывание в Британии, я все никак не мог приспособиться к положению вещей и не отдавал себе отчета, что на одно пенни в королевстве Артура можно было закупить столько же, сколько на пару долларов в Коннектикуте – уж такова была покупательная способность местных денег. Если бы я выехал из Камелота несколькими днями позже, я мог бы заплатить этим людям красивыми новенькими монетами моей собственной чеканки, что было бы, конечно, гораздо приятнее и для меня, и для них. Я принял за основу американскую монетную систему. Через неделю-другую центы, десятицентовики, четвертеры, полудоллары, а также золотые вольются тонкими, но неиссякаемыми потоками во все торговые артерии королевства, и я заранее представлял себе, как эта новая кровь освежит деловую жизнь.

Фермеры, во что бы то ни стало, желали отплатить мне за мою щедрость; пришлось позволить им подарить мне кремь и огниво; как только они усадили меня и Сэнди на коня, я, наконец-то, закурил свою трубку. Едва первый клуб дыма вырвался из-под решетки моего забрала, все фермеры кинулись в лес, а Сэнди кувырком скатилась с лошади. Они приняли меня за одного из тех огнедышащих драконов, о коих столь были слышаны от рыцарей и прочих профессиональных врунов. Мне стоило немалого труда убедить их подойти на такое расстояние, чтобы я мог объяснить им, в чем дело. Я сказал им, что это пустяковое колдовство не опасно ни для кого, кроме моих врагов. И, положив руку на сердце, дал обещание, что всякий, кто без вражды подойдет ко мне, увидит, как те, кто побоятся подойти, будут испепелены на месте. Все мигом оказались подле меня. Обошлось без жертв, ибо у кого не хватило любознательности остаться на месте и поглядеть, что из этого выйдет.

Я потерял довольно много времени, ибо эти большие дети, избавившись от страха, пришли в такой восторг от моего умения дышать огнем и дымом, что не отпускали меня, пока я не выкурил еще две трубки. Впрочем, задержка оказалась небесполезной. Сэнди успела несколько попривыкнуть к трубке, что было немаловажно ввиду ее близости к трубке в со-

вместном путешествии. Кроме того, ей удалось на время заглушить свою говорильную машину, а это тоже достижение. Но всего важнее было то, что я тоже кое-чему научился и теперь был готов ко встрече с любимым великаном или людоедом.

Мы скоротали ночь у святого отшельника, а наутро ближе к полудню мне представился случай воспользоваться своим опытом. Мы ехали напрямиком через луг, и я столь глубоко погрузился в раздумья, что ничего не видел и не слышал; как вдруг Сэнди, прервав на полуслове свой рассказ, начатый еще утром, крикнула:

— Защищайтесь, лорд! Ваша жизнь в опасности!

Она соскользнула с коня, отбежала в сторону и замерла. Я оглянулся по сторонам и заметил вдали под деревьями подюжины рыцарей с оруженосцами; они всполошились и принялись торопливо подтягивать подпруги своих коней, собираясь вскочить в седла. Трубка моя была набита, и я давно уж раскурил бы ее, если бы не задумался о том, как освободить эту страну от гнета с тем, чтобы, по возможности никого не обижая, вернуть народу его похищенные права. Я тоже не стал медлить, зажег трубку, набрал в рот дыму и стал ждать нападения. Рыцари поскакали ко мне все вместе, совсем не по-рыцарски; напрасно пишут про них в книгах, будто нападение обычно совершает какой-нибудь один учтивый мерзавец, а остальные стоят в стороне и следят за тем, чтобы поединок проходил по всем правилам. Нет, они неслись ко мне все разом, неслись во весь опор, неслись, как пушечные ядра, неслись, пригнув головы с развевающимся плюмажем на шлемах и выставив вперед копыя. Красивое зрелище... если любоваться им с верхушки дерева. Но я не стал даже хвататься за копьё и с бьющимся сердцем ждал приближения этой железной волны; затем выпустил столб белого дыма сквозь решетку моего забрала. Железная волна расплескалась на мелкие брызги и отхлынула. По красоте это зрелище превосходило прежнее.

В трех сотнях ярдов от меня они вдруг остановились, и я стал беспокоиться. Торжество мое сменилось страхом; я решил было, что погиб. Но Сэнди сияла; ей хотелось поговорить, но я перебил ее, объяснив, что колдовство мое почему-то не удалось и что она должна скорее запрыгнуть на коня, так как нам нужно удирать. Она удирать не собиралась. Она уверяла, что мое колдовство лишило тех рыцарей силы; они не уезжают лишь оттого, что не могут уехать; если немного подожд-

дать, они свалятся со своих коней, и нам достанутся и кони, и доспехи. Мне не хотелось злоупотреблять ее простодушной доверчивостью, и я сказал ей, что она ошибается, ибо, когда вырывающееся из меня пламя убивает, то убивает оно мгновенно; а раз эти люди еще живы, значит, механизм дал сбой, а вот какой – я сам не знаю, и потому удирать мы должны как можно скорее, так как через минуту эти люди снова нападут на нас. Сэнди рассмеялась и сказала:

— Вот уж нет, сэр, они не из той породы! Сэр Ланселот, тот стал бы сражаться с драконами: он нападал бы на драконов снова и снова, до тех пор, пока не покори́л бы их или не истребил в бою; быть может, так поступил бы и сэр Пеллино́р, и сэр Эгловэл, и сэр Карадос, и еще некоторые, но остальным ни за что не отважиться на такое геройство, как бы они не бахвалились. Неужели вы думаете, что этим низким злодеям мало того, что они получили, и они захотят еще?

— Чего же они в таком случае ждут? Отчего не уезжают? Их никто не держит. Я вовсе не собираюсь сводить с ними счеты.

— Вы хотите отпустить их? Ну, нет, это вам не удастся. Они об этом даже и мечтать не смеют. Они хотят вам покориться.

— Правда? Тогда отчего же они медлят?

— Если бы вы знали, как здесь чтят драконов, вы не стали бы их в том винить. Они боятся приблизиться к вам.

— Ну что ж, тогда я сам приближусь к ним и...

— Нет-нет, они умрут от страха, если вы двинетесь с места. К ним пойду я, — сказала она.

И пошла. Вот уж не думал я, что она может пригодиться в военной кампании. Я, пожалуй, побоялся бы взять на себя миссию парламентаря. Чуть погодя я увидал, что рыцари скачут прочь, а Сэнди возвращается. Я облегченно вздохнул. Я решил, что у нее ничего не вышло, и что переговоры прервались с первых же слов, иначе они не были бы столь кратки. Оказалось же, что ей удалось добиться полнейшего успеха. Едва она сказала им, что я Босс, они были сражены наповал! «Страх и ужас обуял их», — по ее словам, после чего они готовы были исполнить все, чего б она ни повелела. Она заставила их дать обет, что через два дня они явятся ко двору короля Артура и сдадутся в плен вместе с конями и вооружением, и отныне во всем будут повиноваться мне. Она добилась гораздо большего, чем смог бы добиться я сам! Какая умница!

Глава XV ПОВЕСТЬ СЭНДИ

— Итак, отныне я владелец нескольких рыцарей, — подытожил я, когда мы продолжили путь. — Вот уж не думал я и не гадал, что мое состояние придется исчислять в рыцарях. Что же мне прикажете с ними делать: в лотерею разыграть, что ли? Сколько их там, Сэнди?

— Семеро, с вашего позволения, сэръ, а также их оруженосцы.

— Улов-то неплохой, но кто они такие и где обычно болтаются?

— Где... болтают... себя?

— Ну да, откуда они взялись?

— Ах, я не постигла смысла сего вопроса. Сей же час я дам ответ.

И в глубокой задумчивости она принялась повторять, смакуя каждый слог:

— Болтают... да не просто болтают, а болтают себя — и, правда, где они себе болтают? Право же, каким изяществом исполненная фраза и как прелестно в ней подобраны слова. Я буду повторять ее снова и снова в часы досуга, пока не затвержу ее всю наизусть. Где они обычно болтаются — как верно подмечено! Теперь слова сами скатываются с языка, и коль скоро...

— Не забудь, ты вела речь об этих ковбоях.

— Ковбоях?

— Ну да, рыцарях. Ты как раз собиралась мне про них рассказать. Часу еще не прошло. Образно говоря, давай валяй!

— Валять?!

— Да-да, валяй, то бишь, сдавай. Иными словами, не производи на растопку спичек, в смысле — начинай свой рассказ. Про рыцарей.

— Что ж, я начну, и рассказ мой начнется с того, как отправились они в путь, и лежал их путь через дремучий лес...

— Черт подери!

Я сразу понял свою ошибку. Я сам подлил воды на ее мельницу, и пенять мог только на себя. Пройдет ни много ни мало, а все тридцать дней, пока она, наконец, доберется до сути. По своему обыкновению она начинала без предисловий и заканчивала без обобщений. Если ее перебивать, она могла этого и не заметить, но если уж замечала, то, обронив пару слов в ответ, начинала всю повесть с начала. В каком-то смысле

перебивать ее выходило себе дорожке, но не перебивать тоже было нельзя, поскольку на кону стояла собственная жизнь: если час от часу капать и капать человеку на голову, он эту голову может потерять.

— Черт подери! – сказал я в отчаянии. Она тут же завела свою песнь с начала.

— И вот отправились они в путь, и завел их путь в дремучий лес, и...

— Кого это, их?

— Сэра Говэйна и сэра Уэна. И приехали они в монашескую обитель, и приняли их там радушно. А наутро, отстояв обедню, они снова пустились в путь и въехали в другой дремучий лес, как вдруг в долине подле башни узрел сэр Говэйн двенадцать красных дев, а с ними – двух рыцарей во всем облачении на могучих конях, и девы те гуляли подле дерева то туда, то обратно. И узрел сэр Говэйн, что на дереве том висит белый щит, и что девы не токмо ходят мимо того щита, но плюют в него и швыряют в него грязью.

— Да-а, Сэнди, не поверил бы я тебе, когда бы сам не видел в здешнем захолустье подобных выходов. Так что я охотно себе представляю, как важно выступают эти дамы и плюют на всякую геральдику. Здесь вообще все женщины ведут себя как одержимые. И те, что из высшего общества, отнюдь не исключение. Любая наша телефонистка, что отвечает за десятки тысяч миль проводов, могла бы преподать уроки вежливости, терпения, скромности и пристойных манер самым знатным герцогиням в королевстве Артура.

— Телефонистка?

— Вот именно, только не спрашивай, кто это – у вас таких нет, они появятся намного позже; бывает, нахамят ей ни за что ни про что, хотя она не виновата, а потом за свою грубость хочется провалиться сквозь землю за тринадцать веков до ее появления, особенно оттого, что такая безответная грубость вдвойне низка и оскорбительна, и настоящий джентльмен так поступать не должен, хотя... я вынужден признать...

— А что, коль она...

— Бог с ней, оставь ее в покое. Все равно я не смогу тебе объяснить, а ты не сможешь понять.

— Пусть будет так, коль вам угодно. Так вот, сэр Говэйн и сэр Уэн приблизились, дабы приветствовать их и спросили, отчего те сей щит подвергают презрению. «Милорды, — ответствовали девы, — мы вам дадим ответ, и наш ответ та-

ков: живет в наших краях некий благородный рыцарь, сей щит принадлежит ему. Сколь славен он на поле брани, столь же ненавистны ему знатные дамы и благородные девы, и посему презрению мы подвергаем его щит». «Не подобает, — молвил на это сэр Говэйн, — славному рыцарю сторониться знатных дам, однако, быть может, влекут его знатные дамы и благородные девы каких-либо дальних земель. Но коли муж сей столь достоин, сколь говорите вы...»

— В самую точку, Сэнди! В первую очередь в муже женщины ценят достоинство. Мужа с мозгами многие и представить себе не могут. Том Сэйерс, Джон Хинэн, Джон Л.Сэлливан, вас бы сюда! Через двадцать четыре часа вы добились бы права держать ноги под Круглым столом и таблички с надписью «сэр», а еще через двадцать четыре часа, вы перетасовали бы всю колоду замужних принцесс и графинь. Не очень-то местные нравы отличались от придворной жизни в племени команчей, где любая уважающая себя скво не преминет перебежать от мужа к какому-нибудь молодому лосю, у которого на поясе приторочено больше скальпов.

— «...Если он столь достоин, сколь говорите вы, — молвил на это сэр Говэйн, — то назовите же мне его имя». «Сэр, — сказали они, — зовут его Мархауз, Ирландии он королевский сын».

— Нужно говорить – сын короля Ирландии, иначе не понять, кто кому приходится сыном. А теперь держись покрепче, сейчас будем прыгать через овраг... Алле-оп! – у нас просто-таки цирковая лошадь. Эх, не в том веке она родилась!

— «Знаком и мне сей достойный сэр, — сказал сэр Уэн, — и славен он не менее прочих, что обретаются ныне... ».

— Скажешь тоже – обретаются ныне. Если у тебя и есть недостатки, Сэнди, то это только дремучая древность. Но это к слову.

— «...И зрел я, как он подтверждал свою доблесть в поединках со многими рыцарями, и ни один не мог устоять перед ним». «О, девы, — молвил на это сэр Говэйн, — мнится мне, поступаете вы неразумно, ибо тот, кто повесил здесь свой щит, вскорости за ним вернется, и тогда вы узнаете сами, могут ли сравниться с ним те два рыцаря – быть может, сей щит более достоин вашего поклонения, нежели поругания; мне же претит здесь оставаться более, взирая на то, как посрамляется рыцарский щит». С этими словами сэр Уэн и сэр Говэйн отъехали в сторону и увидели сэра Мархауза, что ска-

кал прямо к ним на огромном коне. Завидев сэра Мархауза, прекрасные девы, сбиваясь с ног, все бросились к башне, и некоторые столь спешили, что даже попадали. Тогда один из рыцарей башни поднял свой щит и грозно бросил вызов: «Сэр Мархауз, защищайтесь!» И они съехались, и обломил рыцарь свое копьё о сэра Мархауза, а сэр Мархауз скинул его наземь с такою силою, что тот упал навзничь и, падая, сломал себе шею и спину коню своему...

— Вот-вот, в том-то и беда нынешнего состояния рыцарства – оно губительно для лошадей.

— ...Узрел сие второй рыцарь башни и бросился на сэра Мархауза, и сошлись они в столь неистовой схватке, что рыцарь башни так и пал наземь вместе с конем – и оба заперло.

— А я о чем говорю: еще одной лошадей меньше. Нет-нет, с этим пагубным обычаем надо кончать. Не понимаю, как те, в ком есть хоть капля сострадания, могут потакать подобному зверству и даже рукоплескать ему.

— ...И вот съехались оба рыцаря в неистовой схватке...

Я догадался, что, видно, задремал и пропустил без малого главу из ее повести, но виду не подал. Я рассудил, что, должно быть, пока я клевал носом, ирландский рыцарь успел полезть в драку с приезжими, и оказался прав.

— Сэр Уэн с такою силою нанес удар сэру Мархаузу, что сломал о его щит копьё, а сэр Мархауз с такою силой нанес удар сэру Уэну, что свалил его наземь, и пронзил своим копьём его левый бок.

— Сказать по правде, Алисанда, все ваши древние предания просты, как яблочный пирог; запас слов откровенно скуден; отсюда страдает и выразительность; описания – сплошная Сахара голых фактов без единого оазиса живописных подробностей, что производит просто-таки усыпляющий эффект. «Двое съезжаются в неистовой схватке» – я не против неистовой схватки, это удачное выражение, но ведь есть и другие: «бойня», «резня», «мясорубка», «кровавая баня», и еще добрая дюжина других, не менее емких; а то поди разберись: всякий раз съезжаются двое, ломают копыя, тот тому разбил щит, а тот того скинул наземь; тот, кого скинули наземь, считай, свернул себе шею, и добро бы только себе, а то еще и коню; после чего в неистовую схватку вступает новый пациент, и тоже

ломает копьё, а затем и шею, за ним другой и так далее, пока не вынесут последнего; а начинаешь подводить итоги, то на поверку все потасовки на одно лицо, и даже кто кому накостылял – и то не ясно; и вместо живописной картины боя, где шум и ярость, рев и скрежет, у вас получается что-то невнятное и расплывчатое, вроде возни привидений в тумане. Как при таком скудном словарном запасе вы бы смогли описать действительно стоящее зрелище – к примеру, сожжение Рима Нероном?! Весь ваш отчет звучал бы так: «Город сгорел; страховая премия выплачиваться не будет; мальчик разбил окно; пожарный сломал шею!» — как вам такая картина?

Увы, моя лекция о красотах слога не возымела на Сэнди никакого действия – едва я приоткрыл крышку, как из котла вновь повалил пар.

— ...Тогда сэр Мархауз повернул коня и помчался к сэру Говэйну, направив на него копьё. Увидев это, сэр Говэйн поднял свой щит, и они оба, выставив копьё, во весь опор помчались друг на друга и ударили друг друга о щиты, и обломал сэр Говэйн свое копьё...

— Так я и думал...

— ... но не сломалось копьё сэра Мархауза; и рухнул наземь сэр Говэйн вместе с конем...

— ...и никак не иначе! Небось, и шею себе...

— ...но тут же с лёгкостью вскочил на ноги, выхватил свой меч и пеший бросился на сэра Мархауза, и тот спешился тоже, и стали они биться на мечах, и бились столь неистово, что их щиты разлетелись на куски, их шлемы и доспехи раскололись, и оба они были ранены. Уж пробило девять часов, а они все бились, и бились, вот уже три часа как бились, и с каждым часом сэр Говэйн становился все сильнее и сильнее, и, наконец, силы его утроились. Сэр Мархауз узрел сие и очень удивился, отчего силы его противника лишь прибывают, хоть и оба они страдают от ран, а когда же наступил полдень...

В ее заунывном песнопении пригрезились мне звуки, что я помнил с детства:

— Нью-у-у Хэвен! Остановка десять минут... За две минуты до отправления кондуктор даст сигнал колоколом... Пассажиры, следующих в направлении приморья, просят занять места в заднем вагоне. Этот вагон дальше не пойдёт... Яблоки, апельсины, бананы, бутерброды, попкорн!

— ...Но полдень миновал, и день стал клониться к вечеру, и силы сэра Говэйна стали иссякать, и стал он слаб и не мог

более биться, а сэр Мархауз, напротив, все наполнялся и наполнялся силой...

— Видать, тесно ему стало в его латах. Но к чему все эти мелочи?

— «Сэр Рыцарь, — молвил сэр Мархауз, — я вижу, вы доблестный воин и муж необычайной силы, но сила ваша стала иссякать, а поелику важных причин нашей ссоре нет, мне было бы жаль нанести вам удар, когда вы совсем ослабели». «Ах, — молвил на это сэр Говэйн, — благородный рыцарь, вы произнесли слова, которые я произнес бы сам на вашем месте»; и сняли они шлемы, и поцеловались, и поклялись любить друг друга, как братья...

Тут я вновь потерял нить повествования и задремал, задумавшись о том, как жаль, что мужи столь необычайной силы, такой силы, что позволяла им встать на ноги после кульбита с лошади в увесистых железных латах, а потом еще молотить, колотить и охаживать друг друга мечами в поте лица своего шесть часов кряду — видимо, тоже родились не в свое время, если такая силища пропадает зря. Взять, к примеру, осла: он тоже обладает недюжинной силой, но от этой силы людям польза, поэтому осел и ценен тем, что он осел; но как можно ценить дворянина за то, что он тоже осел? Неисповедим же промысел божий, наградивший дворянина ослиною силой и освободивший его от трудов праведных. Ничего путного из этой затеи не вышло и, как видно, уже не судьба.

Когда я вновь очнулся, то сразу понял, что пропустил еще одну главу, и что Алисанда со своими рыцарями заехали уже очень далеко.

— ... и так они ехали, ехали и заехали в глубокий овраг, полный камней, а по дну его бежал прозрачный ручей; а тот ручей вытекал из фонтана, а у фонтана сидели три девы. «С тех пор, как этот край принял христианство, — молвил сэр Мархауз, — со всяким рыцарем, чья нога ступала на эту землю, непременно случались невероятные приключения...»

— Это неудачный прием, Алисанда. Сэр Мархауз, сын короля Ирландии, изъясняется у тебя так, как и все прочие; ему бы придать ирландский акцент или, на худой конец, вставить какие-нибудь свойственные только ему словечки; тогда его можно будет отличать от других персонажей по единому слову, даже не называя по имени. Это известный литературный прием, им пользуются все маститые писатели. Пусть он у тебя говорит — да что угодно! — хоть «бела его борода»; вот

слушай: «С тех пор, как этот край, бела его борода, принял христианство, бела его борода, со всяким рыцарем, чья нога ступала на эту землю, случались невероятные приключения, бела его борода». Видишь, насколько выразительней выходит?

— «...со всяким рыцарем, чья нога ступала на эту землю, случалась невероятная белиберда». И впрямь, благородный сэра, так гораздо лучше, и пусть это трудно выговорить, но со временем я привыкну. И подъехали они к девам и обменялись с ними приветствиями, а на голове у старшей девы сиял золотой венец, а от роду ей было трижды по двадцать зим, когда не больше...

— Деве?!

— Да, мой дорогой сэра, и потому волосы под венцом у нее были белым белым...

— А зубы у нее были вставные, из целлулоида, по девять долларов за челюсть, что во время еды так и скачут вверх и вниз, как заведенные, а при смехе – и вовсе норовят выпасть изо рта.

— А второй деве было тридцать зим от роду, и на голове у нее был маленький золотой веночек. А третьей деве минуло всего пятнадцать...

Волны воспоминаний накатили на мою душу, заглушив все остальные звуки.

Пятнадцать! Именно столько было той, что разбила мое сердце! О, моя навеки утраченная милая, такая нежная и очаровательная! Ты для меня одна на весь мир! Волна воспоминаний перенесла меня через океан времен в туманное будущее, где добрым летним утром я проснусь, и с мыслями о ней скажу: «Алло, Центральная!», лишь бы услышать в ответ «Алло, Хэнк!», что моему зачарованному уху казалось музыкой небесных сфер. Она получала три доллара в неделю, и она того стоила.

Дальнейшие пояснения Алисанды по поводу наших пленных рыцарей я откровенно прослушал и даже не знаю, дошла ли она до той части, где говорилось бы прямо, кто они такие. Мне это стало безразлично, мысли мои были грустны и витали далеко отсюда. Из случайных обрывков ее рассказа у меня сложилось смутное впечатление, что всяк из этих трех рыцарей закинул по одной из трех дев на круп своего коня, на том они и разъехались в разные стороны: один – на север, другой – на восток, третий – на юг, искать приключений на свою

голову с тем, чтобы съехаться вновь через год и один день и обменяться враками о своих похождениях. Уехать на год и один день, не прихватив с собой багажа – вот вам еще пример простоты нравов в тех краях.

Солнце уже садилось. Рассказ о том, кто такие наши ковбои, Алисанда начала в три пополудни; со скидкой на природную просторность ее речей ей удалось заехать довольно далеко. Без сомнения, ей удалось бы добраться и до пункта назначения, но вот когда – оставалось неясно, а понукать таких балагуров, как она, – лишь попусту тратить время.

Слово за слово мы подъехали к замку, что высился на холме; то было величественное старинное строение с таинственными серыми башнями и бойницами, живописно увитыми плющом, что поражало воображение и вызывало невольный восторг в багряном зареве заходящего солнца. Таких огромных замков мне видеть не доводилось; я даже понадеялся, что мы прибыли на место, но Сэнди сказала, что нет; она сказала, что и сама не знает, кому он принадлежит, и что сама она видела его только издали по пути в Камелот.

Глава XXVIII ВЫШКОЛ КОРОЛЯ

На заре четвертого дня, когда утро еще только занималось, а мы час уже как шагали в промозглых сумерках, я решил, что короля необходимо вышколить. Ведь дальше так продолжаться не может! Надо взять над ним шефство и бережно и не спеша учить, иначе незачем и пытаться войти в какую-нибудь лачугу: кошки и те сразу смекнут, что это никакой не крестьянин, а просто-напросто ряженный, который напялил на себя чужую личину. Вот я и предложил королю сделать остановку и говорю:

– Сир, ваше платье и ваш облик, грех жаловаться, друг другу хорошо подходят, но ваше платье и ваша манера держаться совсем не вяжутся друг с другом и это бросается в глаза. Ваша военная походка, ваша благородная осанка – это никуда не годится. Стоите вы чересчур прямо, смотрите чересчур твердо, глаз не опускаете. Ясное дело, заботы о королевстве не горбатят плеч, не сгибают шеи, не приучают тупить взор, как и не внушают сердцу неуверенность и страх, от которых никнет голова и шаг становится нетвердым. Тяготы низменных забот, вот что сгибает престолюдина. И вам

надо всего этого набраться. Вы должны подражать этим торговым маркам нищеты и горестей, гнета и оскорблений и прочих обыкновенных гнусностей, которые из человека высасывают все мужское и человеческое, а его самого превращают в преданного, добродетельного и проверенного подданного, которым господа его не могут не нарадоваться. В противном случае даже дети малые и те разгадают, что вы не тот, кем нарядились, а выше по положению, и мы с вами с треском провалимся в первой же хижине, куда пожалуем. Прошу вас, попробуйте ходить вот таким образом.

Король внимательно наблюдал за мной, затем стал мне подражать.

– Неплохо, совсем неплохо. Подбородок, пожалуйста, сир, немного ниже, вот так, замечательно. Не надо смотреть с высоты своего величия. Постарайтесь смотреть не вдаль на окоем, а на землю перед собою, шагах в десяти. Вот так... лучше ...очень хорошо. Нет, постойте, вас выдает слишком твердый шаг, чересчур решительный; пуще нужно волочить ноги. Не откажите в любезности, посмотрите на меня... вот как надо... Ну вот, у вас уже начинает получаться... это то, что нужно... по крайней мере, уже близко... продолжайте в этом же духе... Да, почти хорошо... Но чего-то сильно не хватает, сам не совсем понимаю – собственно чего... Ну-ка, пожалуйста, сир, пройти ярдов тридцать, хочу посмотреть на вас на расстоянии...Ну, давайте... Голова – что надо, скорость шага – тоже, плечи – верно, взгляд – верно, подбородок – верно, походка, осанка, общая манера – верно...все – верно... в отдельности. Однако, правда состоит в том, что все вместе – неправда. Счета не сходятся. Нет цельной картины. Окажите милость... давайте еще раз...Ага, теперь начинаю понимать, в чем тут дело. Ну да, вот где собака зарыта. Знаете ли, надо выразить настоящую невыразительность: вот где заковырка. А то выходит все как-то непрофессионально – все частности – хоть куда, доведены до автоматизма, все точь-в-точь как в жизни – иллюзия полнейшая, а в целом чувствуется – липа.

– И как же теперь быть?

– Дайте подумать... Не могу ухватить, где тут суть. По правде, только упражняясь можно поправить дело. Да и место здесь в самый раз. Корни и камни, превосходно подходят, чтобы испортить себе королевскую походку. И помешать никто тут нам не помешает – кругом ведь только поле и

всего одна лачуга, да и то так далеко, что оттуда не видно. Прошу вас, сир, давайте сойдем с дороги и посвятим весь этот день обучению.

Затем после непродолжительной муштры, я заявил:

– А теперь представьте себе, сир, что мы с вами у двери вон той лачуги и перед нами вся семья. Прошу покорно, расскажите, как вы обратитесь к главе семьи?

Король инстинктивно выпрямился, словно истукан, и суrowым ледяным тоном произнес:

– Эй, малый, подай-ка сесть. И попотчуй меня, чем бог послал.

– Нет, не то, ваше величество, не верю.

– Что не то?

– Эти люди не называют друг друга словом «малый».

– В самом деле?

– Да, так их называют только лорды.

– Тогда попробую еще раз. Я обращусь к нему – «Послушай, крепостной!»

– Нет-нет. Он ведь может оказаться вольным.

– Вот как! Тогда, пожалуй, мне подобает величать его «вольным землепашцем».

– Гораздо лучше, ваше величество, но еще лучше было бы обратиться к нему «друг» или «брат».

– Брат! К чумазому простолюдину?!

– Да, но ведь мы сами выдаем себя за таких же чумазных простолюдинов.

– Сушая правда. Я непременно так к нему и обращусь: «Брат, а ну-ка подай нам сесть. А паче чаяния, попотчуй нас, чем бог послал». Теперь-то так как надо?

– Да, но не совсем так. Вы же попросили только для себя, а не для нас, для себя одного, а не для нас обоих: сесть – только для себя, есть – только для себя.

Король выглядел озадаченным, – он был не в самой тяжелой весовой категории – с точки зрения объема мозгов; голова его смахивала на песочные часы: вместить новую мысль – пожалуйста, но по крупинке, в час по чайной ложке, а не всю сразу.

– Неужели тебе тоже надо сесть?... и ты бы сел?

– Если останусь стоять, то этот человек сообразит, что мы не ровня, а только притворяемся, да и то плохо.

– До чего же верно подмечено! Поразительная истина, в каком бы неожиданном виде она не явилась. Ну конечно,

он обязан подать нам обоим сесть, как и еду для нас обоих, и при этом и кувшин с водой, и вытирание предлагать с одинаковым почтением, как одному, так и другому.

– Все же остается еще один пустяк и о нем не надо забывать: он ничего нам не обязан выносить. Это мы сами войдем в жилище – и, несмотря на его грязь и, конечно же, обилие других мерзостей – сядем и разделим пищу с хозяином и домочадцами, и будем есть, как они, что подадут, и держаться будем на равной ноге – если только хозяин не крепостной, и, наконец, вовсе не будет ни кувшина, ни утиральника, кто бы ни был хозяин, крепостной или свободный... Извольте, мой сеньор, пройтись еще раз. Так... лучше... еще лучше; и все же не безупречно. Рамена ваши совсем не гнутся – они ведь никогда не знали ноши, менее благородной, чем железная кольчуга.

– Тогда дай мне торбу. Хочу узнать, что такое на самом деле неблагородная ноша. Полагаю, сгибает плечи не тяжесть ноши, а ее тягость; доспехи куда как тяжелы, но носят их с достоинством, и человек в них расправляет плечи. И не смеет возражать. Никаких «но». Ну-ка, дай ее сюда! Закрепи на спине.

С этим заплечным мешком король, наконец, совсем преобразился и стал столь же мало похож на короля, как и любой другой встречный-поперечный. Вот только его плечи оказались непреклонными: трюк с сутульностью хоть с какой-то долей непринужденности не давался хоть лопни. Повторение – мать учения и я, подсказывая и исправляя, продолжал его школить и муштровать:

– Представьте себе, что вы весь в долгах как в шелках, что вас донимают непреклонные кредиторы; работы у вас нет – а вы, например, по жизни подковываете лошадей, и вам нечего подковывать; жена ваша слегла, дети ваши орут – просят чего-нибудь поесть...

И так далее, и тому подобное. Я предлагал ему представлять по очереди всякого рода горемык, тех, кто терпит крайнюю нужду и кого постоянно преследуют несчастья. Но, Боже, для короля это были только слова, слова, которые для него равным счетом ничего не значили. С таким же успехом я мог бы не говорить, а свистеть, например, ведь мои слова не задевали его за живое. Слова ничего не значат, ничего не позволяют живо представить, если не испытать на своей собственной шкуре, не выстрадать самому того, что этими сло-

вами пытаются передать. Встречаются мудрецы, которые с самодовольным видом знатоков обожают потолковать о «трудо-вом люде» и уверяют себя в том, что усердно поработать денек головой, куда как тяжелее, чем повкалывать сутки физически, и что это только справедливо, что умственный труд оплачивается много лучше. Видите ли, они на самом деле так считают по той простой причине, что отведали только умственного труда, но никогда не занимались тяжелым физическим трудом. Я же испытал и тот, и другой. И что касается меня, то ни за какие деньги на всем белом свете не соглашусь махать кайлом месяц кряду, но зато готов взяться за самый тяжелый умственный труд, причем почти задаром, за самую ничтожную плату – и при том буду доволен.

Умственный труд неправильно называют «трудом», – это же удовольствие, развлечение, он сам по себе высшая награда. Архитектор с самой низкой оплатой, или там инженер, генерал, писатель, скульптор, адвокат, художник, лектор, певец, актер, законодатель, духовный пастырь за работой, можно сказать, блаженствуют. Или взять музыканта, который со скрипкой и смычком в руке сидит среди большого оркестра, окатываемый волнами божественных звуков музыки, которые льются то нарастая, то затихая: да, конечно, он трудится в поте лица, если желаете это называть словом «труд», но, господи, это ли не насмешка над самим понятием труда. Закон взаимосвязи оплаты и труда, по всей вероятности, на самом деле в высшей степени несправедлив, но так уж повелось, и ничто изменить его не в силах: чем больше удовольствия работник получает от работы, тем больше ему также причитается за эту работу денег. На этом же законе зиждятся и такие откровенно жульнические институты как институт наследственной аристократии и институт королевской власти.

(Полный перевод романа закончен 12 июля 2009 года)

Сергей АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

ТРИ ЯЗЫКА, ЧЕТЫРЕ ПОЭТА

С АНГЛИЙСКОГО

ИЗ ДЖОНА СТЭГГА (1770–1823)

БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА

Поет иной про кровь, и дым,
И гром походов и осад;
Владыкам – добрым и худым, –
Слагает оды, ждет наград;
Звенит, покорна рифмачу,
Честолюбивая струна...
А я бесхитростно хочу
Воспеть былые времена.

О, трижды радостные дни,
Что не спешили мчаться прочь, –
О, сколь забав несли они!
А сколь утех сулила ночь!
Безмерен удали запас,
Юнцам отпущенный сполна!
Люблю, друзья, в досужий час
Былые вспомнить времена.

Однажды ночью, в снегопад,
Я, скукой лютою ведом,
Бродил без цели, наугад –
И вот, забрел к соседу в дом.
Сосед, почтенный человек,
Старик – морщины, седина, –

Вздыхал вседневно: «Хилый век!
А были, были времена...
– Чинила страшный здесь разбой
Нещадных уймища ватаг.
Великой в Камберленд гурьбой
Тогда валил треклятый враг!
Мужичий стон, девичий плач:
В пустых амбарах – ни зерна;
Свиной, овец, коров и кляч –
Угнали... Что за времена!

– Однажды живодерский сброд
В ночи пожаловал сюда,
Чтоб здешний вырезать народ
И без помех забрать стада.
Во весь опор скакала мразь
Верхом – до самого гумна!
И гоготала, не таясь, –
Такие были времена.

– Наш Добби взял тяжелый цеп,
И другу тихо молвил: “Том!
Коль не ослаб, и не ослеп,
Скорей вооружись шестом.
Ну... С нами Бог, а с ними бес!”
И – крик, и стук, и лязг, и звон,
И – первый пал головою.
Эх, молодцы былых времен!

– Дубасил Добби наповал:
Ударит цеп – и точка, ша!
И Том в бою не отставал,
Шестом калеча и круша.
Не разбираючи пути,
Помчала банда прочь и вон!
Так двое против двадцати
Дрались... Не стало тех времен».

Сосед мой был охоч и лих

Рассказывать, что хватит сил,
О ведьмах, леших, домовых
И жутких людях – им же мил
Наш ненавистник и злохот,
Наш архиворог – сатана!
Пред ними даже Митчелл Скотт*
Робел в былые времена.

А Скотт, поверьте, не был прост!
Не зря идет о нем рассказ:
Он беса пьяного за хвост
Предерзко дернул как-то раз!
И в утешение поднес
Лукавому стакан вина:
Мол, клюкни, преисподний пес...
Лихие были времена!

О, сколь уютно по ночам
Болтали я и мой сосед!
Не зная надменным богачам
Подобных дружеских бесед.
Лютует за стеной метель,
А в старом кресле у окна
Сосед, потягивая эль,
Бормочет: «Были времена!

– Крутенько приходилось прежь:
Под землю прятали добро;
Кровавый бушевал мятеж,
Умно затеян и хитро.
Скрывали в дебрях и коров,
И кляч... Рыдала вся страна,
И не давал защиты кров
Родимый! Были времена...

– Ох, горе горькое – грызня
Чинуш, вельмож да королей!

* Митчелл Скотт (у Стэгга – Mitchel Scot): философ XIII столетия, знаменитый в народе как чернокнижник и чужодей. – *Примечание переводчика.*

Но скоро кончилась резня
Средь наших долов и полей.
Милее покаянный мир,
Чем окаянная война!
И вновь под каждым кровом – пир:
Переменились времена.
– Уж не грозила нам беда,
Никто в те годы не был хмур:
Ни самодержец нас тогда
Не угнетал, ни самодур!
Неважно – барин или смерд:
Бок о бок пили допьяна
Простой мужик и знатный лэрд!
Какие были времена!

– Никто, насколько бы ни был слаб,
Не знал от ближнего обид;
И даже распоследний раб
Всегда хранил довольный вид.
Колядовали мы зимой,
И улыбалась нам луна.
Как славно было, Боже мой!
Какие были времена!

– Озябнешь – стужи не кляня,
Засядь в уютном кабаке,
У благодатного огня, –
А хочешь – дома, в уголке...
Под Рождество – сытнейший стол:
Жаркое, пудинг, ветчина,
Любой и всякий разносол!
Да, были, были времена.

– Не все потеха: дни бегут...
И, после холодов да вьюг,
Пора и починить хомут,
И к пахоте наладить плуг,
И встать, когда встает заря, –
Негоже спать, уже весна!

Мы тратить не умели зря
Ни дня в былые времена.

– Раздолье девкам да парням,
Когда настанет сенокос!
Как весело бывало нам
Забраться на пузатый воз,
Зарыться в стог, не то в скирду,
Коль на закате клонит в сон...
Поверь: от века дней в году
Милее не было времен!

– Поспела рожь – и без конца
Рядами строятся снопы:
В руках у жницы и жнеца –
Неутомимые серпы!
Нелегкий труд: жара, страда –
И вечерами пьешь до дна
Бочонок пива – без вреда!
Н-да, были, были времена.

– Желтеет лист, и вызрел плод;
Зерно уже свезли в амбар...
На ярмарку спешит народ –
Резвится млад, смеется стар!
Веселый гомон, шум и пляс
Не утихали дотемна.
Бок о бок сквайр и свинопас
Гуляли – были времена!»

...Так повести далеких лет
Под ветра заунывный вой
Плеп поседелый мой сосед,
Покачивая головой.
Что ж, на закате бранных дней
Душа, увы, утомлена –
И мнится ей: пышней, вольней
Жилось в былые времена.

Но – странно молвить: я вполне
Со старцем согласиться рад!
Нет, прошлое не любо мне,
И не стремлю в былое взгляд:
Безмерно страшные дела
Вершила злоба испокон...
А все же... Честь им и хвала,
Минувшим дням былых времен!
Душе любого дорога
Пора, когда был свеж и млад:
О юность! – вешние луга,
И птичьей песни звонкий лад!
Сиял огромный небосвод,
Сверкала шумная волна...
Глядела юность лишь вперед –
В заманчивые времена!

Уж так ведется с давних пор:
Не мрак запомнится, но свет...
У памяти – пристрастный взор,
Для памяти – плохого нет.
Все нипочем, покуда млад, –
Пусть беден, загнан, изнурен! –
И с грустью мы глядим назад:
О юность! Время из времен!

А время – беспощадный тать...
И ты, читатель мой – поверь! –
Однажды примешься роптать:
«Как было встарь! И что теперь?»
Согбенный временем в дугу,
Оборотишься в ворчуна,
На каждом говоря шагу:
«О, где былые времена?»

Как заливался прежний дрозд!
Как возвышался прежний лес!
А сколь мерцало прежде звезд
На прежнем куполе небес!

Нещадна времени рука,
И душу иссушить вольна...
И стонет сердце старика:
«О, где былые времена?»

ИЗ АРТУРА КОНАН ДОЙЛЯ (1859–1930)

НАДЕЖДА

Веру сгубит разум –
Он способен разом
Обесценить дар
Высочайший, Божий...
Но ты ль, Надежда, манишь
Впустую? Ты ль обманешь?
В земной живет юдоли
Тобой одной прохожий!

Ты – светоч путеводный,
Звезде Полярной сродный.
Где тропы каменисты,
Где крут и горек путь,
Ты царствуешь над мраком,
Горишь Господним знаком,
И кажешь нам дорогу,
Чтоб в пропасть не свернуть.

Надежда нежно веет,
Надежда жарко греет;
Надежда гордо реет –
Как вымпел или флаг;
Надежда средь лишений,
Надежда средь крушений...
Надежда – мать свершений,
Залог нездешних благ.

Надейся же на Бога,
Надейся, что дорога

Тебя уводит в Небо,
А не во прах и тлен!
Надейся, что Спаситель,
Твой спутник и хранитель,
Дарующий свободу,
Земной расторгнет плен.

Надейся, что любого
Спасет Господне Слово,
Что в Небе всяк отыщет
По смерти свой приют;
И думай, что, быть может,
Не червь могильный сглохнет,
А примет Рай беднягу,
Томящегося тут.

RELIGIO MEDICI *

Коль ты хорош, не упадешь –
Ты рухнешь, если плох...
Но, крив иль прям, святой иль хам –
Любого создал Бог.

Свой дольний сад лелеять рад
Всевышний Бог всегда;
А боль и страх в Его руках –
Орудия труда.

И шлюха, и анахорет,
И праведник, и плут –
Всех создал Бог, и лишних нет,
И все не зря живут.

О Боже, Ты ль не сбережешь
Здорового ствола?
Но Пьянство с Похотью – Твой нож
И острая пила.

* Вероисповедание врача (лат.) . – Примечание переводчика.

Вершит искусственный отбор
Небесный Садовод:
Плоды худые срежет Мор,
Щадя здоровый плод.

Проникнет в легкие микроб,
Кровавый сгусток – в мозг...
Бессильных Бог в бараний рог
Согнет – сомнет, как воск!

Господь вседневно, всякий час
Испытывает плоть:
Коль мало сил, коль телом хил –
Тебя сразит Господь.

Он лихорадку шлет, и корь,
Холеру и чуму,
Чтоб истребляла злая хворь
Негодных ни к чему.

Он даст ленивцу воспарить
В миры бесплодных грез –
И жизни перережет нить,
Пустивши в ход цирроз.

И Он же – унимает боль,
Дав обморок среди мук...
Сказать пора: о, сколь добра
Из Божьих льется рук!

Но Бог – лишь доброму оплот,
А злomu – шлет беду.
Лишь лучший плод из года в год
Он пестует в саду.

ДУХ И МАТЕРИЯ

Чиста была его душа,
И цель отменно высока:
Он множил замыслы, спеша
Себя прославить на века
Чредой свершений и заслуг –
Да злой гнезвился в нем недуг.

Вчера был мрак, сегодня – тьма,
Но завтра – знал он, – вспыхнет свет.
О! Твердость воли, мощь ума –
Залог невиданных побед.
Он ждал, пока прибудет сил...
А злой недуг его точил.

Развеялись, как дым иль пар,
Погибли замыслы, увы.
Не вспыхнет свет – лишь пышет жар,
И не поднимешь головы.
Где ум теперь? И воля где?
Недуг лютует... Быть беде.

ДЕКАБРЬСКИЙ СНЕГ

Цветет боярышник опять,
И вновь пора сиять весне;
Но весен юных не видать,
Любимая, тебе и мне!
Мы доживаем долгий век,
И наш удел – декабрьский снег.

Но много благ и у зимы –
Спокойных, мудрых, высших благ!
Ужели то, что седы мы –
Душевного старенья знак?
Да, жаль былых весенних нег –
Но чист и свеж декабрьский снег!

Я живо помню вешний день, –
А сколько лет прошло с тех пор! –
Плакучей ивы помню сень,
И твой лучистый, робкий взор...
Коль скоро любишь – и навек! –
То страшен ли декабрьский снег?

Стремится прочь за годом год,
Чредой сменяя времена, –
А юность наша все цветет,
Ее не студит седина.
Нам не состариться вовек –
И пусть над нами сыплет снег.

ШЕКСПИРОВСКОЕ УВЕЩАНИЕ

О судари, не спится мне в гробу,
В могиле подле Эйвонских берегов, –
Зане глаголют некие глупцы,
Преизощренные в ученой лжи,
В умении представить правдой гиль,
Что, дескать, Фрэнсис Бэкон Веруламский
(Во время оно был я с ним знаком:
Ученейший судья – к его рукам
Вседневно липло золото истцов) –
Что, дескать, Фрэнсис Бэкон – автор пьес,
В Шекспировском рождавшихся мозгу.
Враги всемерно тщатся снять венец,
Что мне друзья и весь огромный мир
При жизни возложили на чело.
Но, сколь ни хитроумен лживый хор,
А мелет, согласитесь, дикий вздор.
Imprimis*, дескать, будучи рожден
В убогом захолустном городке,
Чем изощрял я смолоду свой ум?
Ужель витает царственной орла
Имеющий куриные крыла?

* Во-первых (лат.). – Примечание переводчика.

Да, господа! Я, выросший в глуши,
Студенческой не протирал скамьи;
Но гладный ум себе отыщет снедь
Везде, где книги есть и люди есть;
Бывает, в позаброшенных полях
Мечтательный и мудрствующий знак
Исправно зреет; но – увы! – твердят,
Что к жизни подготовиться земной
Как следует возможно лишь родясь
Близ Темзы! Но признайте, господа:
Коль скоро только университет
Плодит поэтов – то куда ж девать
И Джонсона, и Марло, и других,
Чей мерный стих шагает гордым шагом,
Точь-в-точь, как мой? Отколе взялся мед
В их сотах? Предо мною перевес
Ужели кто-нибудь из них имел
В учености? Иль нужно полагать,
Что Бэкон сочинял один за всех?
Тогда всеведущий ученый муж
Один похитит славу двадцати!

Вы мните, я невежда? Что ж, тогда
И вовсе никаких сомнений нет:
Писал Шекспир! Не я ль волной морской
Богемию омыл, и загреметь
Заставил пушки ранее на век,
Чем первую отлаили? О, ужель
Непогрешимый, столь ученый Бэкон
Молод бы чушь подобную? Так пусть
Любой огрех мой, всяк бездумный стих
Клеветников угомонят моих...
Ах да! Глаголют, будто бы нашли
Письмо, в котором Бэкона зовут
Поэтом, втайне пишушим. О да!
Но, право слово, тайне вышел срок.
Суровы были древле времена,
И канцлер многоумный в наши дни
Был мене виноват, издав закон
Преступнейший, чем бывши уличен

В никчемном стихоплетстве? Оттого
Писал он втихомолку. Но теперь
Иные времена – и вы прочли
Его творенья. Право: лучше ли
Они моих творений? Вам, друзья,
Судить... Но врозь творили он и я.

Довольно... Джонсон был накоротке
Со мной – чем не свидетель честный Бен?
Да и надгробная не стерлась надпись;
Неужто же могильная плита
Вещала бы заведомую чушь
Меня отлично знавшим землякам –
Чтоб в местной церкви каждый хохотал,
Завидевши бесстыжий, лживый мрамор?
Я убедил вас? Коль не убедил,
И вы сомнений тягостных полны,
То вот последний довод: на любой
Взгляните мой прижизненный портрет.
Мой глас умолк – но вот мои черты!
И вас уверит сей безмолвный лик,
Что был Шекспир поистине велик.

С ИСПАНСКОГО

ИЗ МАНУЭЛЯ-ХУСТО ДЕ РУБАЛЬКАВЫ (1769–1806)

ВРЕМЯ

О время!.. Велика ль моя вина,
Коль скоро безрассудно время трачу?
Но время унесло мою удачу,
И времени означилась цена.

Я процветал в былые времена
И полагал, что время одурачу...
Мой смех умолк, настало время плачу,
И время оплатило мне сполна.

Уходит время, как вода в песок,
И времени, увы, осталось мало...
Все время ощущаю: близок срок –

К могиле гонит время, как стрекало.
О время! Я сберечь его не смог.
А время шло, а время истекало...

* * *

Достойно ли твердить, что ты рожден
И солнце над собой узрел впервые
В том городе, что стал во дни былые
Владыкою народов и племен?

Да, там блистал речами Цицерон,
Там Сулла заставлял клониться выи,
Там Цезарь вел когорты боевые —
И ты, мой друг, развился из пелен.

Не Риму — но его мужам хвала!
На доброй почве можно вызреть плохо:
Побег того же римского ствола —

Калигула: фигляр, тиран, пройдоха...
Поведай, каковы твои дела,
А не твои отчизна и эпоха.

НИЗЕ, ВЫШИВАЮЩЕЙ БУКЕТ ЦВЕТОВ

О, только ли нуждой порождена
Творенья жажда, правящая нами?
Я вижу, как под нежными руками
Нежнейшая затеплилась весна.

Струится нитью легкою она,
Причудливыми стелется стежками
И светлыми ложится лепестками,

Которым смерть вовек не суждена.
И Флора, со смятеньем созерцая
Возникновенье этих гордых роз,
Где прежде ткань белела неживая,

И видя, что милей цветок возрос,
Чем ею сотворенные для мая,
Молчит, грустит — и не скрывает слез.

СУЩЕСТВОВАНЬЕ СКРЯГИ

Копить и громоздить мешки добра,
Молиться лишь дукатам и дублонам,
И тешиться лишь вожделенным звоном
И блеском золота да серебра;

Не спать, и сокрушаться до утра,
И проклинать судьбу со слезным стоном,
Утрату медяка сочтя уроном —
Когда червонцев собрана гора...

Иных занятий не было и нет
У этого безумного бедняги:
Весь день лелеять залежи монет,

Всю ночь мусолить ценные бумаги...
Похоже, я вместил в один сонет
Всё жалкое существованье скряги!

С ПОРТУГАЛЬСКОГО

ИЗ АЛЬФОНСА ДЕ ГИМАРАЗНСА
(1870–1921)

X

Увы! Не в заколдованной чащобе
Взошли побегии всех твоих невзгод:
Ты счастье расточал за годом год –
И солнце в адской сгнуло утробе.

Смех отлетит, а горе – не преидет;
И призраки, рожденные во злобе,
Завьются вкруг тебя – и лишь во гробе
Прервется роковой круговорот.

Да! ложь весны продлится ложью лета...
Скорбит душа на пустыре людском,
Ища в душе другой хоть искру света...

Увы! ты сгублен беспросветным бредом!
И не ищи источник бед ни в ком,
Коль сам ты положил начало бедам.

ЛЕСТВИЦА ИАКОВА

О мир, о благодать! Пролейтесь, наконец,
Как чистый лунный свет, на грех, не знавший меры.
Дай веру, Господи, тому, кто просит веры,
И молится Тебе, таинственный Творец!

Всем ведомо, насколько угодна Небесам
Заблудшая душа, что жаждет повиниться.
На всеусердный зов, всевластная десница,
Прострись – и ниспошли целительный бальзам!

Прощает Божий взор, и в то же время в прах
Испепелит, коль шел тропею ты неправой;
А праведный в Раю блажен и взыскан славой...
Кто вожделенный мир вкусит в иных мирах?

Ты ведаешь, насколько мечта моя дерзка:
С Тобою пребывать слиянно, а не розно.
О Господи, внемли. Я, грешный, слишком поздно
Пришел к Тебе, – но я пришел издалека!

О смилуйся, Творец, прощенье уготовь.
Был дух мой одинок, а испытанья – многи...
Сушила горло пыль неправедной дороги,
Взор застила слеза, уста покрыла кровь.

Дай света Своего для истомленных глаз,
Источник веры дай – и утолю я жажду.
Прости мои грехи, прости в последний раз,
Спаси и сохрани, взирая, как я стражду!

В ком сердца нет, моей потешатся тоской,
Но добрая душа найдется в мире все же.
О если бы уйти от суеты людской –
Прощенья Твоего искать, Всевышний Боже!

И Божия лоза золотой явила грозд,
И свод иных небес открылся мне, в котором
Спасение душе вещают нежным хором,
И Твой Престол парит среди священных звезд...

А мирозданья суть возвышенно чиста;
Причастие в себе сокрыли все светила.
Дохнула благодать – и тучи расточила:
Кровавый виден знак священного Креста.

Святой Грааль Небес! Излейся, наконец,
На воды и на твердь, на грех, не знавший меры.
Дай веру, Господи, тому, кто просит веры
И молится Тебе, таинственный Творец!

Рафаэль ЛЕВЧИН

Из Мирослава Валека

(1927–1991)

С СЕРБСКОГО

СОНЕТ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

Когда твой стих, чудеса поистратив,
уже не сможет порхать по мирам,
шепни себе: «Побаловался, и хватит.
Напрасно жил ты. Пора помирать».

Уж коль поэзия чуда лишилась,
так, значит, вправду настала пора.
Была ли, нет ли звезда – закатилась.
Напрасно жил ты. Пора помирать.

Что жизнь поэзии – чуда! – лишилась,
сам от себя всего охотней бы скрыл.
Но брызжет кровью, как вскрытые жилы:
«Напрасно жил ты. Напрасно ты жил».

Не трать чужого здоровья и сил.
Напрасно жил ты. Бесплодно ты жил.

СПИЧКИ

Спичка грусти вспыхнула тихонько
(впрочем, мне на это наплевать).
Одиночество незванным входит –
значит, снова жалкие слова.

Ночь течёт, тоскою перекрыта
(я-то думал: зажило давно...)
Дождь у птицы выдирает крылья
и швыряет камешки в окно.

Спичка прошлого пылает снова,
и в огне, как прежде, голова.
Я любил... но что здесь это слово?
Мне давно на это наплевать.

Прядки эти светлые, тугие,
сонные, счастливые глаза...
Я – другой, и оба мы – другие,
и вообще, плевать, я же сказал!

Утро встало. Спички догорели.
Лишь дымок, ночных кошмаров след,
в воздухе рисует акварелью
мой карикатурный силуэт.
Губы, что не могут целовать,
шепчут ту же ложь: «...плевать... плевать...».

ОСЕННЯЯ ЛЮБОВЬ

Любовь – кладоискатель, любовь щедра на посулы,
но даже чаша Грааля – в конце-то концов, посуда.
Прах жёлтых и летних дней засыпает старые листья,
и уже их сметают дворники в запоздалые обелиски.

И светятся, светятся в осени трассирующие души,
дикий конь – человек – кружит себе и кружит,
бредит о смертном счастье, жить не желает вовсе.
Не приведи, чтоб сердце стало комочком воска!
Молюсь портретам твоим. В очах твоих – тихий омут.
Казалось, что цель близка. Остановился бы – обмер.
Твои иконные лики кружат, дурманят, манят...
Не бывает молитвы от разочарований.

Нам дано было много, нам казалось всё мало.
Сколько майских ночей нас луна обнимала...
Но – что короче мая? Разве вот только лето...
Осень давно всё знает, но не расскажет, нет уж!
А долиной зима уносит исповедь мая:
ждал, тосковал, пришла – но не она, иная!..

Любовь – кладоискатель, любовь щедра на посулы,
но даже чаша Грааля – в конце-то концов, посуда.
Прах жёлтых и летних дней засыпает старые листья,
и уже их сметают дворники в запоздалые обелиски.

КОТОРУЮ УЖ НОЧЬ

Студёный ветер в форточку стучится,
в далёких высях звёздный рой жужжит.
Которую уж ночь,
которую уж ночь мне всё не спится?
Моё ты счастье, свет в окошке, жизнь!

Ворочаюсь в ночи, как зверь-подранок.
Сомкнулся страх колючими кустами.
Напрасно призывать на помощь разум –
отчаянье терзать не перестанет.

Не любишь? Но послушай: хоть в насмешку...
хоть полосни насмешливой запиской!
Любимая, любовь не станет меньше,
и гордость мёртвая моя не вспыхнет.

Студёный ветер в форточку стучится,
в далёких высях звёздный рой жужжит.
Которую уж ночь,
которую уж ночь мне всё не спится?
Моё ты счастье, свет в окошке, жизнь!

С ГОЛОВОЙ В ОГНЕ

Залети мне в глаз искрой предрассветной,
залети мне в глаз, разгоняя сон!
Искра в глазу,
голова в огне,
ночь без дна, вверху, внизу,
ночь во мне.
В эту ночь я был бы в небо вознесён.

В полдень жаркий будь мне солнечным ударом.
Пусть смеются надо мной: стораает!
Пусть все видят: радостно хвораю.
В полдень жаркий:
с головой в огне думать о тебе.

В пол-восьмого вечера: перестрою струны,
чтоб тебя сыграть
в цвете звездной платины,
в цвете крови лунной.
В пол-восьмого вечера:
вся вселенная заполнена тобой.

Стань однажды ночью воплощенным: «да».
В сердце и в устах, вот оно, то самое...
Искра в глазу,
голова в огне,
ночь без дна, вверху, внизу,
ночь во мне.
Выжжены тобой глаза мои.

ЗА МИНУТУ ПЕРЕД ТЕМ КАК УСНУТЬ

Я вижу птицу с красными перьями
Глаза мои полны прекрасных диссонансов
В ночи которую поджигают её крылья
я всегда один
мучаюсь
плачу
придумываю себе

минуту с тобой среди роз
там зазубриваю тебя наизусть
там вдыхаю тебя
пока не скажешь
Довольно

Я ЗНАЮ САМ ЧТО НЕЛЬЗЯ ТАК

Но попробуй коснись моего тела
как струна зазвенит оно слушай
Так довольно
Довольно
Я твоя музыка
мелодия которая нейдёт из головы
можешь меня насвистывать
думая о другом

Ты меня насвистываешь
думаешь о другом
у меня это нейдёт из головы
Дай мне уснуть
дай мне уснуть
фантазия алая птица

ПОГОДА

Сыплет дождь, осыпаются хризантемы,
а люди глаза чуть не проглядели.
Гроб заколочен, свеча догорает,
соседа сосед шепотком уверяет:
– Покойный, бедняга, был мне, как брат...
А думает:
«Хорошо ему,
на него не каплет,
он, небось, рад».
Дождь льёт и льёт, плачут хризантемы,
а глаза у людей – чтоб глазеть, а не плакать...

Поэт, неужели нет другой темы?
А чего б вы хотели в такую слякоть!

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Смутянка в жёлтых вельветовых джинсах
управляет подъёмным краном,
кругом повсюду воскресенье,
играет духовой оркестр и молоко кипит.
Слышу звон тарелок –
мчит экспресс со стеклом,
столкнулись два солнца,
а ты-то ещё ни о чём не знаешь.

А меж тем
лает пёс в саду совсем по-деревенски,
на голых ветках
проступают силуэты будущей листвы.
Пахнуло холодом, в печку подкинули дров,
голубь на трубе почернел, как орех,
и свалился в траву.
Это всё ещё утром было,
в час пробужденья деревьев,
в воскресенье.

Но через минуту всё изменится.
Гребни в волосах заискрят и погаснут,
улица стихнет и вновь загремит,
убегают трамваи на цыпочках
и затягивают сети над городом.

Это стальное кольцо, из которого не вырваться.
Вспомни, кстати, обручальное колечко,
камень, когда-то брошенный в воду,
воду, вечно утекающую,
круги на воде,
их молчание.

Напеваю грустный шлягер и хожу по кухне.
Газ, сине-зелёный, как твой свитер,
голову мне кружит,
я заснул бы,

но со мною рядом Воскресенье,
с котёнком под рубашкой,
с пальчиком у губ.

С Воскресеньем на рыбалку мы ходили,
с Воскресеньем нагишом в пруду купались
и тайком читали «взрослые» книги.
Воскресенье, ты моё искушение,
пред тобой я распростерт, словно скатерть...
Воскресенье, воскресенье...
Задёрни шторы!

Итак, без горьких слов
и мыслей злых
беру свой хлеб,
гляжу сквозь пальцы, на которых
блестят твои слезинки – капли масла,
и вижу:
асфальт украшен радугой,
сверкают крыши,
ребята в форменках морских в кино шагают.
Смеркается.
Кувшин тонкогорлый запел
хрипло, по-петушиному,
вещи в темноте разместились.
Узнаю лишь наощупь, что ты ещё здесь.
А земля с нами кружится, как карусель...

Смуглянка в жёлтых вельветовых джинсах
управляет подъёмным краном,
утомлённо стоящим на одной ноге, точно аист.
По ступенькам
сбежал кто-то вниз
и в сумерки крикнул фальцетом:
– Матильда, домой! Уже поздно...

Дома вокруг готовятся ко сну.

УСТРАНЕНИЕ СТАТУЙ

Ночь – как последняя.
В Дунае луна вспенила свое синтетическое мыло.
Над городом мрак кружил эксцентричной совой,
обольстительные женщины в витрине улыбались
приятно и глупо,
словно живые,
некий Джесси Оуэнс из Камбоджи
побил мировой рекорд,
последний троллейбус его ослепил синей молнией и унёс,
мостовая почернела.

Тогда возложили руки на бронзу.
Чутко и нежно, как шею скрипки,
нашли точку опоры, позволяющую перевернуть мир.
Подсунули ломы и рычаги,
площадь, рот разинув,
от ужаса ахнула,
зуб мудрости пошатнулся.

Потом поднялась статуя в воздух.
Словно ступая по головам каменных мужей,
сошла с постамента.
И горы не сдвинулись, не задрожала земля под ногами,
только голуби уж не кружили вокруг
единственной головы,
не оведали ее херувимьими крылышками,
пыль на неё не садилась.

На камне увядший букет
и гипса куски, словно сняли повязку.
Брови ночи срастались
долго, болезненно, как перелом,
время окоченело.
А утро было голубое-голубое, утро флюоресцировало,
Дунай лениво пенил свое мыло,
белая туча колыхалась в небе, как комбинация,
бельё небесное было выстирано.

Но я всё время представлял себе его лицо,
засунутую за отворот кителя его руку,
в которой зажата была ещё одна – такая же – статуя,
в маленьких сапожках,
с маленькой рукой, засунутой за отворот.

Потом я осторожно коснулся
двумя пальцами,
выбрав минуту, когда за мною никто не следил,
возле сердца, под сердцем,
– всё время думая о той, маленькой статуе –
и нащупал нечто холодное, твёрдое, каменное
– тут-то горы и сдвинулись, тут и земля задрожала.

Она была там!

В это мгновенье,
на глазах у обольстительных женщин витринных,
улыбавшихся приятно и глупо, словно живые,
на глазах у подметальщиков судеб
и рабочих, ремонтирующих светила над миром,
в это мгновенье и именно там я понял:
устранение статуй началось!

* * *

Обожаю военных,
запах их ремней и прокисшего хлеба,
люблю вас,
генералы инфантерии
и командиры полковых оркестров,
и прочих, чином пониже,
люблю смиренно.

Розовые ноздри ваших коней женщин тревожат,
а барабаны ваши, их отрывистые удары
– словно проснулась горилла и с топотом
мчится по джунглям!

И тишина, и снова, и снова
барабанят в старую шкуру мира:

провозглашается зарождение гор,
исчезновение океанов,
переселение народов,
скал неожиданные сдвиги!
И вот уже только слабые отзвуки,
это старейшины маршируют, себя колотя по лысынам:
– Как мы могли... Как только допустили мы...
Но прогресс начался задолго до них.
Барабан к нам пришёл из прошлого,
барабан возвестил будущее,
барабаны бунтов и бури барабанов под небом,
бумеранг барабанов гонит стада к крепостным валам,
бульдоги-барабаны борются с грабежами,
малыш-барабанчик, я тебя укачаю,
спрячу тебя, сиротинка, словно замёрзшую птичку,
в альбом маразматика-генерала (в отставке),
пузыри барабанов,
срам,
барабан против барабана!
Так и есть, как я предполагал:
забыли мы случайную любовь,
вкус её губ, её римский нос,
нашли другую, так уж повелось,
может, при глубокой вспышке, этак лет через семьсот,
жёлтый, как в малиннике оса,
вспыхнет зуб её глазной.
Прости нам, Брюнхильда, как всегда прощала!
Кстати, это повод повторить сначала:
люблю вас,
генералы,
о, маршал Ней,
Сципион Африканский,
Чингис-хан,
узаконенной смерти изобретатели,
глотавшие огонь
жонглёры,
тычущие клинки в спицы истории.
И Земля вращается всё неистовей,

солнце запутывается в гривах коней,
копыта по стеклу,
барабанный бой с того света,
безумный чарльстон,
топот лавин,
джунгли!
Где ваш бич, укротители леопардов и пум?
Рыжая кобыла Смерть так настойчиво ржёт,
усовершенствуйте нежную эту зверюгу,
этот чистый цветок превратите
в абсолютную розу, пригодную для именин,
а также для глубокого сна, для фразы:
«Дорогие родители, вернусь поздно...»
Усовершенствованная смерть для каждой семьи!
Смерть
кафельная, белая, итог поисков утраченного времени.
И всё в ней аккуратно поделено:
ДЛЯ ЛЕДИ ДЛЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ...

ПРОСТО ТАК

Просто так,
словно я тебя встретил случайно,
словно дождь нас с тобою счищал с мостовых
непрозрачными щётками,
словно с якоря снялся корабль,
на котором тебя я умчал бы,
просто так, мимоходом:
– Послушай! Люблю!
– О! Ещё один!..

Получил?!
Это надо же –
именно в августе!
Аж по корни
деревьев
залившись стыдом,
как ни в чем не бывало,
покручу я на пальце ключи

и скажу тебе, словно случайно:
– Идём?

Просто так, мимоходом.

Это будет, я думаю, в среду,
в пол-четвёртого, у бокового входа
в магазин, где продают дирижабли и средства,
помогающие от пустоты
в памяти. Ты
мне шепнёшь:
– Да? А куда?
Я спрошу тогда:
– Что же нужно тебе?
Ради бога, скажи мне, ну что?
– Ах, не знаю, – ответишь мне ты, –
может быть, то,
что ты произнёс
так случайно
и мимоходом...

Где ты, любимая, где?
Задыхаюсь от страха,
что встречу тебя
в этой жуткой ночи,
в изнуряющей летней воде,
когда непристойная луна
в гипнотическом сне неподвижно стоит
за окном,
как труп,
и меня преследует плач,
я трус.

Когда пью чай,
когда кофе мелю,
когда надеваю плащ,
постоянно дрожу,
постоянно держу в голове это твоё:
– А куда?..

Я почём знаю куда?!

Есть ли место такое, где был бы я близок тебе,
как дерево дереву,
где бы я перелился в тебя
и стал без остатка тобой,
как вода – водой?

Просто так,
словно случайно.
Словно в дождь.

ПАНПУЛОНЫ

Довелось мне как-то одному остаться.
Стал я кофе пить,
чтобы ждать и не тужить,
чтобы не бояться.

Веселее сразу стало.
Только слышу – трель звонка!
Этого мне только не хватало!
Это ж Панпулон наверняка!!

Панпулон
из Панпулонии –
сердце так и захолонуло! –
носит белую рубаху
с чёрным панпуловером.

Чёрный панпуловер,
чёрные ручищи,
в чёрных панталонах
чёрные ножищи,
чёрные галоши
(грязи – по полпуда),
чёрные глазищи
пялятся панпухло!
Раньше тоже приходили,

прятались в подвале
и звонили, и звонили,
и панпуловали.
Каждый панпулянин
руку к кнопке тянет,
звонит всё сильнее,
до панпосиненья!
Делай что угодно,
изогнись дугою,
спрячься под свой панпулон –
всюду звон, звон, звон!!.

Ночь трезвоном панполна,
этой ночью не до сна.

...Но чего боюсь я?
Что это за дрожь?
Я – один, а это всё –
просто панпуложь!

ИЗ ВОДЫ

(из венка неправильных сонетов)

I

Без тебя не могу, как без алкоголя.
Пью, не напьюсь, вечно недоволен.
Ты моя Бессонница, тебя так зовут.
Принял я снотворное, наяву.

Это, надо думать, и есть беда.
Может, телеграф мне сможет помочь:
«Приходи во столько-то, зпт, навсегда...».
Горькая, кофейная, чёрная ночь.

Неужели ты с другим, нежно-многолика?
Но в любой любви, жалости не зная,
адские машины времени тикают,
тикают, тикают... Счастлив, кто не замечает.

Голова тяжелеет, газ её съедает.
Утекает любви единственное время,
движется время иного обладания...

А над сердцем твоим – белое знамя.

II

Весной можно видеть реку в её спальне,
прострелили её вертикальным камышом,
а она дремлет мягко, ей так хорошо,
и на всех глядит горизонтально.

Жаворонок-бомбоносец в небе виснет.
Живём, не поднимая головы.
Ты ведь знаешь, как делается роковым
то, что, казалось бы, не имело смысла.

К твоим стопам весенним льнёт взрывчатая пыль,
оранжевая и тебе к лицу.
Я весь горю. Какая это пытка!
Лечу.

Да, прощай. Напишешь? Намекнёшь,
дескать, даже не заплакал? Да?
Ах, любовь! Всё правда и всё ложь.

XV

А над сердцем твоим – белое знамя.
Ах, любовь! Всё правда и всё ложь.
Самодостаточны, собой полны мы сами.
Бледность – вроде бы сейчас уснёшь.

Луч света в водах преломите,
движется вода тяжёлая, беременная,
дейтерий, тритий,
волосы шевелит над мертвецами.
Водоворот – рыбка в чёрной яме.

Как хочу тебя! Несмотря ни на что. Навсегда.
Разыщу тебя, как зеркальце в траве,
и, что нелюбим, узнаю...

Я б хранил тебя, как глаз хранится в голове!..
Улетают птицы – наступают холода,
и вода уж не спешит к Дунаю.

Ольга ОКОНЕВСКАЯ

Последний поклон, или Книга длиною в жизнь

Мы были первыми. Не просто первокурсниками 1958 года, но первопроходцами, первыми вечерниками-филологами Харьковского университета. Мы были пробным камнем филфака, оселком, на котором оттачивали, отработывали программы, их «набор» и объем. Спасибо: нас почти не отличали от студентов стационара (в основном, временем суток, отводимых для лекций и семинаров).

Нам трудно достался и трудно давался университет. За это мы ценили и любили его, посещая не только четыре раза в неделю по расписанию, но еще и по средам все мыслимые и немыслимые факультативы и дополнительные занятия, прозванные ликбезом. Мы пришли не за дипломом — за знаниями. И среди тех, кто щедро давал их, одно из первых мест принадлежит Льву Яковлевичу Лившицу. К встрече с ним уже были подготовлены несколькими годами учебы.

Хорошо помню его первое появление в аудитории. Коричнево-песочный костюм, неторопливая походка, копна рыжевато-каштановых волос с намеком на седину, до которой он, увы, не дожил. Но главное, конечно, глаза: грустные, внимательные, задумчивые, порою ироничные, иногда с лукавинкой Глаза большого и мудрого вихрастого ребенка, незаслуженно обиженного, но не поддавшегося обидам, и одновременно взрослого, много повидавшего и много испытывавшего человека.

Мы тогда еще ничего не знали о его военной судьбе и о послевоенных мытарствах Нам были неизвестны его блистательные критические работы. Знали его по лекциям ярким, убедительным, увлекательным Он заставлял думать, находить ассоциации, перемещаться во времени и в литературном пространстве. Он ценил наши знания и сочувственно относился к нашему незнанию. Когда кому-нибудь трудно было оформить мысль, Лев Яковлевич ободрял: «Ничего, студент, как собака: все знает — сказать не может».

Он как-то ненавязчиво, почти не уча, учил нас читать чужое, а писать свое. Мы прослушали его прекрасный спецкурс по Горькому и выбрали темы курсовых. У меня была работа по пьесе «На дне». Времени, как всегда, в обрез. На чтение критической литературы его и вовсе не хватило. Пришлось сразу браться за дело, иначе не успеть. За две или три ночи исписала двойную тетрадь и с трепетом вручила ее Льву Яковлевичу. На следующем занятии он попросил написать список прочитанных книг, и мне ничего не оставалось, как признаться, что прочитать я еще не могла, но... «Тем более, вдруг перебил меня Лев Яковлевич, я вынужден поставить вам «пятерку», а критики вы еще начитаетесь».

В конце пятого курса наша бессменная староста Галя Дворкина (впоследствии преподаватель 128 школы и создатель на Богом забытой Салтовке одного из лучших школьных театров) принесла список тем дипломных работ. Выбирали: кто по языку, кто по литературе, кто тему, кто руководителя. А мне выбирать было нечего. Не было в списках темы, которой я «заболела» еще в прошлом году во время поездки в Ленинград со студентами стационара. Накануне мама подарила сборник стихов Берггольц, а в «Роман-газете» уже вышли «Дневные звезды», настолько не вписавшиеся в литературу тех лет, что и жанр не определить рыло. Чуть позже придумали: лирическая проза, созданная по законам поэзии, со свободными хронологическими и тематическими перемещениями и тем, что, вслед за Белинским, у Берггольц называлось «самовыражением» (за что критикована была не единожды, и не только за это). Так родилась тема: «Поэзия блокадного Ленинграда и творчество Ольги Берггольц».

И начались вопросы: почему Ленинград, а не, например, Одесса? Почему Берггольц, а не кто-нибудь из преуспевающих? И вообще почему тема, которой в списке нет?

Пока висели в воздухе все эти «почему», я все точнее понимала «зачем» и все больше мучилась главным «когда»? Эти и многие другие вопросы были со мною решены Львом Яковлевичем, ставшим моим руководителем.

С 1 апреля я была уже свободна и накануне отъезда пришла в университет. На стационаре шумела перемена. Увидев меня, Лев Яковлевич вдруг спросил: «Вы, небось, завтра собираетесь в дорогу, чтобы времени зря не терять?» Получив утвердительный ответ, обратился к аудитории с риторическим вопросом: «Больше никто в красный Питер ехать не же-

лает?» А потом ко мне: «Завтра обязательно зайдете ко мне домой». «Но у меня поезд рано». «Значит, зайдете еще раньше», невозмутимо ответил Лившиц.

В то утро дома была только Циля Карловна, мама Льва Яковлевича. Она и вручила мне стопку книг. Это были сборники харьковских прозаиков и поэтов, которые я должна была передать Ольге Федоровне Берггольц.

Забыла сказать, что накануне Лев Яковлевич спросил, собираюсь ли встретиться с поэтом, на что я ответила: только в случае, если будет какой-нибудь вечер, а домой прийти ни за что не отважусь.

Признаться, не сразу поняла я, чего стоило Льву Яковлевичу за несколько часов обойти братьев-писателей, взять книги, попросить написать автографы, чтобы вооружить меня таким своеобразным пропуском к Берггольц, которая тогда уже мало кому отвечала на звонки и мольбы о встрече. А кроме того, Лев Яковлевич снабдил меня командировочным удостоверением, в котором говорилось, что я работаю над дипломом о творчестве Берггольц, и поэтому ректорат Харьковского университета просит организации и учреждения, к которым я буду обращаться, оказывать всяческое содействие и посильную помощь. Не сразу я до конца поняла суть документа, который стал пропуском, верительной грамотой, оберегом.

Благодаря ему, я смогла работать в Публичной библиотеке и в Пушкинском доме, познакомилась и на долгие годы подружилась с научным сотрудником музея истории Ленинграда А.М. Сараевой-Бондарь, оформлявшей блокадные залы и получившей свой первый и единственный в жизни выговор «за напечатание стихов Берггольц на стенке».

Но главное — это знакомство с Ольгой Федоровной Берггольц.

Вечер в гостинице «Октябрьская». Звонок к поэту.

На другом конце провода такой знакомый блокадникам по радио, а мне по пластинкам голос. «Здравствуйте, Ольга...» и вдруг начисто забыто отчество. А в трубке: «Говорите, говорите» — знаменитая картавинка Берггольц. Я судорожно соображаю, что делать, мучительно медленно, как мне кажется, но все же нахожу решение. Дрожащей рукой открываю последнюю страницу одного из сборников и, запинаясь, произношу спасительное «Федоровна». Сообщаю о поручении передать книги В. Добровольского, И. Муратова, З. Каца и еще кого-то из наших земляков.

Утром следующего дня я на Черной речке. Не могла увидеть тогда в Берггольц просто человека. Я смотрела на нее как на живого классика, как бы сквозь призму блокады, и слышала не обращенные ко мне слова, а «сквозь рупора звеневший голос», который спасал живых и провожал в последний путь тех, кому не суждено было увидеть над Невой салют Победы.

О теме дипломной работы Ольга Федоровна узнала много позднее, когда в одну из ее бессонных ночей мы беседовали о студенческих годах.

Так, благодаря Льву Яковлевичу, я не только познакомилась с Берггольц, но вошла в ее жизнь на долгих и коротких 12 лет, а она в мою навсегда.

Через две недели я вернулась в Харьков и в первых числах мая принесла моему руководителю вступительную главу, а к 15 мая было написано три четверти работы в черновике.

Определился точный срок защиты — 23 мая, и стала очевидной невозможность в него уложиться. Я мужественно сказала Льву Яковлевичу, что готова отложить защиту на следующий год, на что он не менее мужественно ответил: «Ценная идея. Но тогда придется менять тему». О моем состоянии, близком к шокотому, говорить не приходится. Или я сделаю невозможное, или все рухнуло!

Я села за письменный стол, как галерник за весла, и отошла от него через неделю, 22 мая, во второй половине дня, чтобы успеть отнести переписанную, а на четверть написанную сразу набело свою выстраданную работу.

Вручаю Льву Яковлевичу папку в 165 страниц (от руки; печатать не разрешали!) и слышу: «Знайте сами и передайте всем моим будущим дипломникам, что Лев Яковлевич Лившиц принимает работу накануне защиты первый и последний раз в жизни». Устало-обнадеживающее посмотрел на меня и повторил: «Последний раз в жизни».

Предчувствие? Пророчество? Совпадение? Дипломники 65 года защищались уже без своего руководителя...

Утром звоню, спрашиваю, можно ли приходить за работой, на что Лев Яковлевич не без юмора отвечает, что, если я позволю, готов привезти ее сам.

Через полчаса я уже стою у порога. Лев Яковлевич лежит. Он давно уже почти не поднимался, а перед этим ходил с палочкой, больше похожей на трость. И носил он ее так небрежно, как, наверное, Пушкин, прогуливаясь по Михайловс-

кому или Тригорскому, да впридачу, зайдя в аудиторию, клал ее на стол, причем не по ширине, а по длине столешницы, будто подравнивая что-то нам не видимое и не ведомое. А мы ведь и вправду не ведали, что он, еще такой молодой, сорокалетний, уже смертельно болен. Нам мешала понять это его самоирония. Ему, видимо, помогала, спасала.

— Ну вот, все в порядке, говорил Лев Яковлевич за четыре часа до защиты. — Только сейчас быстренько сбегайте в библиотеку Короленко и выпишите для библиографии данные свежих партийных документов по искусству и литературе.

— Но мне они не понадобились, — возражаю я.

— Мне тоже. Но без них не пропустят ни одну работу.

Через час меня встречает Ольга Давидовна, жена, выполнявшая сегодня смежные функции, и с порога спокойно общается: «Страницы я вам уже пронумеровала, теперь допишите список литературы, и, надеюсь, все будет закончено». Но не тут-то было. Нужно, оказывается, сочинить еще реферат — текст своего выступления перед комиссией.

Описывать свое состояние не берусь: нужен талант. А вот у Ольги Давидовны он был и проявился сейчас как нельзя кстати. Голосом и силой воли высокопрофессионального врача-психоневролога она сумела убедить меня в том, что, собственно, ничего страшного нет, у меня еще огромный запас времени. Пока другие будут защищаться, я спокойно успею просмотреть работу и написать реферат. Единственное неудобство; Лев Яковлевич его не прочитает, но опять-таки не страшно: услышит, правда, уже вместе с комиссией.

...Окончилась защита. Началось обсуждение. Первым были лившицовские дипломники, т.к. Лев Яковлевич не мог долго сидеть, и его вскоре увезли домой. Выходя из аудитории, он посмотрел на меня и ободряюще помахал рукой.

...Мы возвращались домой по нашей уникальной площади Дзержинского. Только что отгремел и отсыял фейерверк в честь перенесенного на субботу дня пионерии. А нам казалось, что и в нашу честь. Ведь мы так долго (6 лет!) и так трудно (сколько ночей!) шли к этому звездному часу. Из 50 дошли 26. Но на всем пути нас поддерживали наши прекрасные педагоги и, казалось, вся русская и мировая литература.

Мой диплом перерос впоследствии в воспоминания о Берггольц, воспоминания — в книгу «...И возвращусь опять», работу над которой я завершила в 1991 году, в день рождения Ольги Федоровны — 16 мая. В Лениздате предполагалось вы-

пустить ее в 1992 году. Но... началась «перестройка». Напечатать книгу за свой счет у меня не было возможности.

Пятнадцать лет кочевала рукопись по петербургским издательствам, которые искали и не находили спонсоров. За это время Л.С. Чичибабина познакомилась с рукописью приехавшего в Харьков Е. Евтушенко, он написал коротенькое вступление к ней. В эти годы я опубликовала ряд статей, методических разработок и эссе о жизни и творчестве Берггольц в украинских газетах и журналах. По материалам моей рукописи доцент Харьковской Академии культуры В.П. Камышников написал сценарий и поставила со студентами спектакль к 85-летию поэта.

В дни юбилеев О.Ф. Берггольц звучали мои передачи о ней по петербургскому и харьковскому радио. Я проводила встречи и читала лекции в Центральном лектории и библиотеках Харькова, в Музее истории Санкт-Петербурга и в Мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, в школах и колледжах, в Суворовском училище. Под впечатлением от этих встреч рождались новые страницы книги, которой, по всей видимости, суждено было до поры стать последним поклоном Ольге Федоровне от тех, кто ее знал и любил не только по стихам и прозе, но и в жизни. К сожалению, в те годы, когда я писала книгу, были еще закрыты архивы О.Ф. Берггольц, опубликованы не все ее записные книжки и дневники, негде было уточнить некоторые разночтения в датах, но ждать было некогда — уходят блокадники... И вот в феврале 2004 года раздался звонок из Петербурга еще не известной мне В.Н. Стоминок — директора издательства «Логос». Она сообщила, что издательство готово издать мою книгу в 2005 году, к 60-летию Великой Победы. В 2010 году, к 100-летию О.Ф. Берггольц, издательство осуществило повторное издание книги без авторских поправок и дополнений.

Книга была тепло встречена в Харькове. Состоялись презентации в Чичибабинском центре, научных, городских и районных библиотеках, на которых я подарила блокадникам Харькова книги, которые купила на всю сумму гонорара. Книга получила премию «Народное признание» с вручением автору уменьшенной копии парящей над центром Харькова скульптуры «Скрипач на крыше». В том же 2005 году мне было присвоено звание «Харьковчанин года». Книга называется строчкой из стихов Ольги Федоровны «Херсонесская подкова» — «...И возвращусь опять». Это мой последний поклон Ольге Федоровне

Берггольц. Сегодня я могу обратиться к ней ее же словами:

И вот ты видишь:

Я не забываю

Эта книга — мой последний поклон и незабвенному Льву Яковлевичу Лившицу от меня, его последней дипломницы. Ведь истоки моей книги длиною в жизнь — там, в университетских годах, ниточка от которых тянется к сегодняшним дням и прочно соединяет нас всех — живых и мертвых, учителей и учеников. Ведь, как утверждала Берггольц, «смерти нет, не подкрадется, не задушит медленно она, просто жизнь сверкнет и оборвется, точно песней полная струна».

Полвека назад я получила заряд на всю жизнь. Я уже давно старше Льва Яковлевича. Но оттуда, из неумолимо отдаляющейся юности, мне светит выбитое на его памятнике такое не академическое, конечно же, никогда не произнесенное мною вслух имя: «Лёва Лившиц».

Игорь МИХАЙЛИН

Доверчивая мудрость завзятой ткачихи

О поэтической книге Риммы Катаевой
«Войти в твою память...» (2016)

В новой книге известного харьковского поэта три главы. В первой собраны стихотворения, написанные после выхода в свет ее предыдущей книги «Сентябрины мои, сентябрины» (2012). Во второй — поэтические переводы Риммы Катаевой с украинского языка. А в третьей — переводы украинских поэтов из Риммы Катаевой.

ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА

Если воспринять книгу как художественную картину, то логично предположить, что у нее должна быть рамка. Есть такая и в книге Риммы Катаевой. Открывает ее посвящение «Римме Катаевой» недавно ушедшего от нас Алексея Аулова, где есть слова (привожу самые ударные строчки): «Из твоей «Шинели» мы повырастали / Песня-то с шинельным запахом печали. (...) Мама дорогая, за Бурсацким Спуском / правда проживает горькая — Искусство. / (...) К Риму — все дороги. Все дороги — к Риму. / К Римме все «Пороги», все «Ступени» — к Римме...»

Далее идет второе вступление — известное по предыдущим книгам поэтессы стихотворение «Украина». Его цель — воссоздать автопортрет поэта на фоне эпохи. Автобиография Риммы Катаевой наполнена красноречивыми деталями из ее прошлого. Приблизившись к современности, она не могла не сказать о своем творчестве, для которого из украинской «усталой земли — беспокойную черпала силу». Задачу своего нынешнего бытия она формулирует так: «Я пишу для нее. Пусть неровно, срываясь от боли. / Украинскому слову — ищу я живой перевод. / И страдаю за судьбы, чей голос душили в неволе, / Чьим стихам иногда слишком поздно приходит черед». Автору важно заявить: «Моя Украина!» Рассказав о своей жизни, Римма Катаева убеждена, что имеет полное право

отождествлять себя со своей украинской родиной.

А вот завершает книгу стихотворение Риммы Катаевой «В Ірпені», написанное на украинском языке неизвестно в каком 19... году. «А я живу в довженківській кімнаті, / А за вікном — довженківська сосна», — начинает автор. Эта сосна «натхненно, зелено шумить». Эта строчка взята для названия третьей главы. И сосна, и сама аура Александра Довженко вселяет в автора романтические мечты о творчестве, подпитывает ее целебной живицей; и вот — крепнет вера «в сонячну довженкову весну».

Во всей своей книге автор воплощает идею единства русскоязычной Украины с украинским народом, идентифицирует себя с Украиной как культурным и геополитическим пространством.

ВСЕ СТРЕМЛЮСЬ И СТРЕМЛЮСЬ

Так называется первая глава книги. В ней много цветов. Многие поэзии посвящены цветам: «Цветы зимы», «Пеларгония», «Майские стихи», которые начинаются строчкой: «Нет, ну, какие тюльпаны...». Дело, в общем, даже не в этих конкретных произведениях, а во всем художественном мире книжки. Вот автор пишет о смене времен года и видит: «Восстали высокие травы / Цветов — еще много кругом. / И смотрятся флоксы лукаво, / И астры — цветастым огнем».

В стихотворении «Я не знаю, что такое «скука» героиня перечисляет все свои занятия: «Я читаю, шью, вяжу, стираю, / Сад свой разноцветный сторожу». Она могла бы сказать: «Развожу». Но это перенесло бы цветочную тему на исходную позицию, давно пройденную, поэтому автор сообщает нам, что сторожит давно разведенный сад.

Цветы привносят с собой яркую колористику, которая используется для обозначения жизненных состояний героини. Стихотворение «Когда ты есть» описывает ситуацию счастья и вдохновения от ощущения присутствия любимого человека, когда пробуждается творчество, обостряется восприятие внешнего мира: «Пою, пляшу, дышу — крутой бунтаркою. / Влюбляюсь заново я в небо Харькова. / И вмиг стихов почував озарение, / Ныряю с головой в потоп *сиреневый*». Сравнивая летнюю жару и зимний холод, автор провозглашает, что ее любимое время — это май и сентябрь. «Но до чего же май / Упруг, хорош собой! / Но до чего ж свежа *сиреневая* свет-

лость!» Сиреневый оттенок любимый у Риммы Катаевой, ведь его название генетически происходит от цветка.

То, что цветы — символ красоты внешнего мира, этим никого не удивишь. Но для автора цветы — предмет активного внутреннего переживания. Если есть цветы, даже стынущие во дворе сентябрины, то автор заявляет: «Только верю с давним *оптимизмом* — / Бабье лето все-таки придет!» «Оптимизм» — здесь не случайное слово, а очень даже закономерное; это главное настроение стихов Риммы Катаевой.

В интересном стихотворении «Фантазия» разворачивается сюжет стремления. Причем важна для автора не цель, а мотивы, истоки, топос стремления. Я стремлюсь туда, — говорит она, — «где гортензия, гордо звеня, / Белой шапкой накроет меня», где «люди просто читают стихи», где царят стыд и честь, где быт озаряет радость творчества. «Сколько там вдохновляющих чувств! / Только я все стремлюсь и стремлюсь...» После этого автору не нужно говорить о цели своего стремления. Мы поняли: это стремление к идеалу. А вот в стихотворении «Майские стихи» героиня любит принесенными подружкой тюльпанами и сама распускается, как цветок: «Смокнул мои костоправы. / С новой цветною силой / Я появляюсь по праву — / Стройною и красивой!..»

Вы заметили? Множество стихотворений построено на восклицательных интонациях. Из знаков препинания любимый для Риммы Катаевой — восклицательный знак, отражающий всеобщий оптимизм ее мировосприятия.

Даже в двух стихотворениях о вещах этот оптимизм сквозит в каждой строчке. Стихотворение «Чайник» описывает, как в «густой февральский снегопад» в доме раздаётся соловьиный свисток закипевшего чайника. Совершенно не случайно в соседнем стихотворении автор вводит интересную художественную параллель: «Пригоршня чая» — «Бросок из рая».

Удивительное стихотворение «Держу я чудо-палочку...». Речь в нем идет не о волшебной палочке Гарри Поттера, а о прозе, о быте; том времени в жизни человека, которое в загадке Сфинкса обозначалось как «вечером на трех». То есть речь идет о палочке, на которую опирается во время ходьбы человек. А почему же она превращается в стихотворении Риммы Катаевой в «чудо-палочку»? А вот почему; послушайте: «Хочу присесть на лавочку, / Глазами в небосвод. / Но нет, царица-палочка / Опять зовет в поход!» Снова восклицательный

знак. Снова стремление вдаль. Снова продолжение жизни. Многие написали бы что-то противоположное: дескать, вот и я докатился до палочки. Но не Римма Катаева.

Первая часть книги написана в жанре лирического дневника. Естественно, что в жизни поэта важное место занимают произведения о творчестве. Самое загадочное из них — под названием «Ткачиха». Автор сознается: «Я заядлая ткачиха. / В комнате, где очень тихо, / Все стучу, стучу. / По батисту белой ткани, / Каждый штрих душой чеканя, / Я строчу, строчу». Мы поймем это стихотворение только тогда, когда вспомним, что с латыни «textun» переводится как «ткань». Так вот о чем речь в этом стихотворении! Из слов ткет свою ткань наша ткачиха, расставляя их на бумажном листе — «по батисту белой ткани». Подсказки идут во второй строфе, где автору «дактиль улыбнется чисто / И зажжет строку», а надорванная нитка связывается при помощи солнца.

И все же сборник называется «Войти в твою память...» Что-то пока маловато в нем произведений о прошлом, о памяти. Причина — в особенном понимании памяти в творчестве поэта. Для нее память — это то, чем живет человек сегодня; это не прошлое, а настоящее, пришедшее из прошлого.

Предметом множества стихотворений Риммы Катаевой является угасшая любовь. «Я не люблю тебя, — произносит закливание героиня, но не может поверить сама себе и продолжает: — И все же, все же... / Каким-то чудом связана с тобой». И вторая строфа начинается с заклинания-анафоры: «Я не люблю тебя», чтобы снова закончиться сомнением в этом утверждении. Оказывается, по крайней мере, по Римме Катаевой, угасшая любовь не существует. Она разгорается, как только героиня думает о ней, а не думать о ней она не может. Опять же: потому что любовь — содержание жизни. Любовь — это не прошлое, а всегда настоящее.

Римма Катаева могла бы собрать стихи о неугасшей любви в одно место и образовать из них целый цикл. Она этого не сделала. Они разбросаны по всей книге. Что это значит? Только то, что это чувство рассредоточено по всей жизни автора. Каждый раз она обращается к этому мотиву приблизительно с одной интонацией: «Тебе — не до меня, и мне — не до тебя», но память тербит душу обоим. В стихотворении «В скобках», где действительно часть строк изъята в скобки, продолжается мысленный (возможно, нескончаемый) диалог с любимым (который, якобы, уже давно не любимый): «Ну, признайся, где-то

в глубине, / В глубине души твоей таится / Знаковую память частица / (Обо мне, конечно, обо мне)».

И когда мы, читатели, вспоминаем название книги «Войти в твою память...», то мы переживаем растерянность. Кто этот ты, в чью память поэтесса «все стремится и стремится»? Строчка взята из стихотворения, где топос вхождения обозначен как Харьков. Но каждый читатель, дочитавший до этого места, усомнится в намерениях автора. Если она и стремится войти в чью-то память, то это в твою память, дорогой читатель. А Харьков тут оказался в качестве примера. Слишком много связывает автора с нашим городом. Поэтому, дорогой читатель, подвинь свои жизненные впечатления, чтобы Римма Катаева вошла в твою память. Она это заслужила.

ГОЛОС ВЕЧНОСТИ

Это название второй главы, которую составляют переводы Риммы Катаевой с украинского языка на русский. Заголовок двусмысленный? То ли голосом вечности автор считает произведения отобранных поэтов, то ли... Есть среди переводов Риммы Катаевой произведение Петра Перебийниса «Что такое вечность?» Скорее всего, все же название главы связано с этим стихотворением. Казалось бы, вечность — понятие объективное, то есть существующее вне человеческого сознания. Но автор толкует о противоположном: вечность в руках человека. Один человек посадит дерево, а его дети посадят детей этого дерева, вот и получится вечность; но если придет другой человек, угрюмый, прагматичный, и срежет молодой побег себе на кнутовище, чтобы понукать взмыленного коня, не станет и вечности. Вывод: «вечность смертна». Но Римма Катаева верит, что рукописи на горят; написанное никогда не исчезнет; поэтому и стремится оставить свой след в мультикультурном пространстве Харькова и Украины.

Стоит перечислить всех переведенных поэтов в той последовательности, в каковой их представляет автор. Это — Дмитро Павлычко, Лина Костенко, Петро Перебийнис, Павло Мовчан, Виктор Тимченко, Вячеслав Романовский, Иван Андрусак, Владимир Стальной, Виталий Коротич, Николай Возиянов, Олесь Дяк, Антонина Тимченко, Ольга Тильная, Василь Голобородько, Евгений Сверстюк.

Стилистика Риммы Катаевой, как и надлежит, меняется; она уходит от своих интонаций, ассонансных рифм то в сто-

рону строгой версификации с отточенной рифмой, то в сторону верлибра. Она следует за переводимым автором, ее обязанность, как переводчика, передать своеобразие оригинала, а не остаться собой. Многие отмечают, что Римма Катаева переводит почти дословно — дело обычное для прозы и почти невозможное в поэзии.

В целом она избирает для переводов стихотворения разных авторов общечеловеческого содержания, в которых звучат интересные философские мотивы. Например, верлибр Ивана Андрусика «Добрые умирают» — о зыбкой меже между добром и злом. «Добрые умирают / А плохие живут / Думая, что они добрые / И что Бог поэтому / Держит их здесь, на земле». Далее эта всеобщая сентенция переводится в план личного восприятия поэта: «И я думаю / Что я добрый / И прошу / Подержи меня тут, Боже...», до тех пор, пока я состарюсь настолько, что карать меня, немощного и старенького, «у Тебя рука не поднимется».

Но и горячее публицистическое дыхание украинской поэзии не прошло мимо внимания Риммы Катаевой. Из Павла Мовчана избрано стихотворение о Крыме, в котором автор говорит от имени Украины: «О Крым, одинокий, отторгнутый край мой!» В подборке Дмитра Павлычко представлено яркое произведение «Предсмертные стихи Рыгора Бородулина» с мечтой белорусского поэта — «свою Отчизну снять с московского креста». У Евгения Сверстюка представлено стихотворение «Вас, кому присудила доля...» Это обращение к украинской национальной элите, кому пришлось «жить в снегах меж чужими людьми» и в то же время оживлять духовные святыни, сохранять красоту Украины. Этот подвиг «рыцарей чести» останется навечно в памяти народной.

НАТХНЕННО, ЗЕЛЕНО ШУМИТЬ

Вы догадались? Это название третьей главы, где собраны переводы украинских поэтов из Риммы Катаевой. Если отбирать из творчества поэтессы самые лучшие произведения для антологии или хрестоматии, то вот они — эта работа уже проделана украинскими поэтами. Кто-то переводил Римму Катаеву давно; кто-то — для этого сборника. Стоит и здесь перечислить авторов. Это — Петро Перебийнис, Владимир Базилевский, Майя Львович, Станислав Тельнюк, Юрий Герасименко, Елена Матушек, Юрий Стадниченко, Виктор

Бойко, Анатолий Перерва, Роберт Третьяков, Александра Ковалева, Леонид Тома, Владимир Науменко, Валерия Богуславская. Не правда ли: удивительный по своей репрезентативности список?

Самый интересный опыт — переводы по своему выбору. Среди переводов Юрия Стадниченко лидируют стихотворения о Харькове: «Харкову», «Місто моє». Скромная, почти незаметная в литературном процессе Майя Львович остановила свой выбор на стихотворениях «Шинель», «На могилі Ігоря Муратова», «Вулиця».

А Роберт Третьяков? Он перевел стихотворения «Дивовижні люди», «Забутий вираз: неможливе щастя». В первом стихотворении идет речь об идеале человека; «він рве кайдани, він втікає з кріпацтва / Нещирості, підступності і лжі». А счастье — это, по крупному счету, тема самого Роберта Третьякова. Поэтому ему близко стихотворение Риммы Катаевой, в котором «Кохана до коханого притулиться, / А хтось сльозу пробачливу проллє... / І ними вся захоплювалась вулиця, / У щастя ще не вірячи своє».

Многие стихотворения, прочитанные по-русски в первой главе, можно прочесть по-украински в третьей. И тогда становится очевидным мастерство переводчика, его умение передать авторский художественный мир в своей системе ценностей. Вот перевод Петра Перебийноса стихотворения «Фантазія». Он воссоздает картину внутреннего мира поэтессы: «Там поезії мова жива / Повертає забуті слова. // Не торгують життям за гроші / В тій країні моєї душі».

Не мной подмечено, что в поэтическом переводе соревнуются поэт и переводчик. На носителей языка перевод производит часто более глубокое впечатление, чем оригинал.

В целом новая книга Риммы Катаевой пронизана светом, стремлением к прекрасному, наполнена жизненной силой. Эпиграфом к ней могла бы стать заключительная строка из первого стихотворения первой главы: «Здравствуй, жизнь, пусть не легкая, здравствуй!»

Авторы журнала

Биографические справки

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Сергей Анатольевич родился в Харькове (1956). Окончил факультет иностранных языков ХГУ. Печататься начал в 1989 году. Публиковал переводы с португальского, испанского и английского. Участник многих антологий. Автор книги «Факсимиле. Стихотворения и переводы» (2007).

Живёт в г. Харькове.

БИНКЕВИЧ Алексей Станиславович родился 15.11.1943 г. в г. Джамбуле (сейчас Тараз), Казахстан. Окончил Самборский (Львовской обл.) статистический техникум. Поэт, переводчик. лауреат муниципальной премии имени Бориса Слуцкого и Международной литературной премии имени Расула Гамзатова.

Живёт в Харькове.

ЗЕЛЬДОВИЧ Геннадий Моисеевич родился в 1964 году в Харькове. Закончил Харьковский государственный университет им. М.Горького, филфак (1986). Переводит с польского, английского, испанского, португальского, французского, в том числе Б. Лесьмяна, А. Мачадова, Ф. Пессоа, Ф. Вийона. Автор ряда книг по языкознанию. Доктор филологических наук, профессор Варшавского университета.

Живет в Варшаве (Польша).

ИЛЬИН Игорь Волеславович родился 3 мая 1956 года в г. Харькове. Переводчик с английского, украинского, русского, немецкого, португальского и голландского языков. Автор многочисленных прозаических и поэтических переводов на украинский, русский и английский (свыше 30 книг). Переводил произведения А. Милна, Ч.С. Льюиса, Ф. Скотта Фицджеральда, Ричарда Баха, Т. Бергера, Вила Хейгена, Чака Поланика, Огдена Нэша, Лессинга, Э. Керри и др. Произведения печатались в альманахах Украины и США.

Живет в Харькове.

КАЛЬНИЧЕНКО Александр Анатольевич родился 30 октября 1954 в с. Бильковцы Коростышевского района Житомирской области. Автор прозаических переводов на украинский, русский и английский языки (свыше 30 книг), сотни научных публикаций в области переводоведения, десятка учебных пособий по переводу и истории перевода, составитель ряда хрестоматий по истории переводческой мысли в Украине. Переводил произведения Р. Баха, Т. Бергера, Ф. Скотта Фицджеральда, Дж. Драйдена, А. А. Милна, Ч.С. Льюиса, П. Торопа, П. Уэллмена, К. Ирвинга, В. Беньямина, Ф. Шлейермахера, Иеронима Стридонского, Мартина Лютера и др. Глава редколлегии переводческих альманахов «Протей», «Новый Протей» и «Хист і глузд».

Живет в Харькове.

КОВАЛЬОВА Олександра Прокопівна – письменник, перекладач, народилася 28. 11. 1948 р. в с. Бондареве Старобільського р-ну Луганської області в селянській родині. Закінчила ф-т іноземних мов Харківського державного університету (1971), кандидат

філологічних наук, доцент кафедри німецької філології ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. У 1988-1994 рр. очолювала Харківське культурологічне товариство «Спадщина». Поезії О.Ковальової публікувались у перекладах англійською, білоруською, молдовською, німецькою та російською мовами. Член НСПУ з 1983 р. Відзнаки і нагороди: стипендія міста Нюрнберга (2000 р.), премія ім. Костя Гордієнка (2008 р., м. Харків); Харківська обласна премія ім. О.Масельського (2010 р.); премія журналу «Березіль» (1996 р., 2008 р., 2011 р.).

Мешкає в м. Харкові.

КУЛИШКИН Георгий Семёнович народився в Харькове (1950). Окончил ХГУ им.М.Горького, филфак. Работал в сфере бытового обслуживания населения. Публиковался в центральной и местной печати. Автор двух книг (1987, Москва, «Молодая гвардия», 2016, Харьков). Одна из его книг экранизирована.

Живёт в г. Харькове.

ЛЕВЧИН Рафаэль Залманович (27.09.1946-07.08.2013) — русский поэт, драматург, прозаик, переводчик, эссеист, художник, актёр. Учился на химическом факультете Ленинградского института текстильной и лёгкой промышленности (1965-1969). Жил в Киеве (1970-1991). Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. В 1991 году переехал в Чикаго. Участник многих неформальных творческих групп, различных международных проектов. Публиковался в журналах и альманахах. Автор поэтических книг, фантастической прозы. Участник выставок (коллаж, графика, керамика, бук-арт). Работы в частных коллекциях в Москве, Киеве, Кёнигсберге, Кракове, Чикаго, Майами, Мехико. Издатель, главный редактор, главный художник многоязычного самиздат-журнала «REFLECT... КУАДУСЕШЦТ».

Умер и похоронен в г. Чикаго (США).

МИХАЙЛИН Игорь Леонидович народився в 1953 г. в Харькове. Окончил Харьковский государственный университет им.М.Горького (1976), в котором работает, пройдя путь от преподавателя до профессора. Автор 345 научных и научно-популярных работ, учебников по журналистике. Член Национального союза писателей Украины. Почетный гражданин г. Мерефы (Харьковский р-н, с 1997).

Живет в Мерефе.

ОКОНЕВСКАЯ Ольга Максимовна родилась в Харькове. Закончила ХГУ им. М. Горького (1964). Работает в средней школе. Автор книги «И возвращусь опять (страницы жизни и творчества Ольги Берггольц)» (2005). Публиковалась в журналах и альманахах СНГ. Лауреат премии «Народное признание» (2006), «Харьковчанин года» (2006). Отличник образования.

Живет в г. Харькове.

СОДЕРЖАНИЕ**ПОЭЗИЯ**

Алексей БИНКЕВИЧ. Перекличка с Рабиндранатом Тагором	3
Олександра КОВАЛЬОВА. Собі самому	21
Геннадий ЗЕЛЬДОВИЧ. Из лирики Болеслава Лесьмяна	163
Сергей АЛЕКСАНДРОВСКИЙ. Три языка, четыре поэта	210
Рафаэль ЛЕВЧИН. Из Мирослава Валека	227

ПРОЗА

Георгий КУЛИШКИН. Из книги «Мужской роман»	37
Марк ТВЕН. Янки из Коннектикута при дворе короля Артура (фрагменты из романа). Перевод Игоря Ильина и Александра Кальниченко	182

РОДИНОВЕДЕНИЕ

Ольга ОКОНЕВСКАЯ. Последний поклон, или Книга длиною в жизнь ...	243
--	-----

РЕЦЕНЗИИ

Игорь МИХАЙЛИН. Доверчивая мудрость завзятой ткачихи	250
--	-----

АВТОРЫ ЖУРНАЛА	256
-----------------------------	-----

Литературно-художественный журнал

СЛАВЯНИН

№30

Гл. редактор Л.И. Мачулин
Редактор отдела поэзии Р.А. Катаева

Корректор *А.Н. Балабанова*
Художественный редактор *В.В. Вербицкий*
Вёрстка *А.И. Забродин*

Подписано к печати 30.10.2016. Формат 70x108 1/16.
Бумага офсет. Печать офсет. Гарнитура PragmaticaCond СТТ.
Уч.-изд. л. 14,70. Изд. №9. Зак. №__. Тир. 300 экз.

Учредитель: ООО «Институт Восточно-славянской цивилизации».
61012, Харьков, ул. Полтавский шлях, 9, кв.1, 1А.

Адрес редакции для писем:
е-mail: editor01@list.ru
<http://slvn.org/>

Издатель: Мачулин Л.И.
61057, г. Харьков-57, ул. Рымарская, 17, оф.14.
Свидетельство о госрегистрации: сер. ХК №125 от 24.11.2004 г.
ISSN 2221-9331